**ПОРТРЕТЫ УЧИТЕЛЕЙ.**

|  |
| --- |
| 1. Сергей Иванович Ковалев (1886-1960 гг.)2. Соломон Яковлевич Лурье (1891-1964 гг.).3. Аристид Иванович Доватур (1897-1982 гг.).4. Ксения Михайловна Колобова (1905-1977 гг.) |

**[426]** В дополнение к общему очерку отечественного антиковедения в новейшую эпоху (после 1917 г.) набросаем несколько портретов ученых, которые внесли наиболее крупный вклад в жизнь кафедры античной истории Ленинградского (Петербургского) университета и были учителями моего поколения. Эти портретные зарисовки, сделанные нами в большинстве случаев с привлечением не только официальных материалов, но и личных впечатлений, позволят более наглядно представить развитие науки об античности в советское время.

Вместе с тем пусть эти зарисовки будут данью уважения тем, кто в трудное для нашего общества время не оставил ученых занятий и своей деятельностью способствовал сохранению антиковедной научной традиции. Это были разные люди, в личном плане - по своим убеждениям, ценностной ориентации, характеру и, конечно же, судьбе - совершенно непохожие один на другого, но их объединяло служение университетской по преимуществу науке об античности, а разность этого служения, как и различие судеб, делает их своего рода знаковыми фигурами, позволяющими теперь, на исходе ХХ столетия, с большей полнотой, на конкретных примерах, обрисовать перипетии научной жизни в только что завершившееся советское время.

Мы остановили наш выбор на четырех персонажах. Трое из них - С.И.Ковалев, К.М.Колобова и А.И.Доватур - относятся самым точным образом к категории наших учителей, поскольку они были наставниками пишущего эти строки. Четвертый - С.Я.Лурье - таковым для нас не был (о чем, конечно, нам остается только сожалеть), но он не может быть обойден молчанием, так как входил в ту же группу ведущих ленинградских профессоров, был учителем для многих других и, таким образом, оказал воздействие на ту среду, из которой вышел и автор этих строк. В основу очерков о Ковалеве и Лурье легли наши статьи, приложенные к переизданиям их университетских курсов, очерки о Колобовой и Доватуре были написаны специально для данной книги.

1. Сергей Иванович Ковалев (1886-1960 гг.)1

**[427]** Имя профессора Сергея Ивановича Ковалева неразрывно связано со становлением советской науки об античности. С юных лет связав свою судьбу с революционным движением в России, он после победы Октябрьской революции целиком отдал себя делу распространения и утверждения марксистских исторических идей. Блестящий лектор-пропагандист, вместе с тем крупный оригинальный ученый, наконец, великолепный организатор, он был одним из самых выдающихся строителей новой советской исторической науки, одним из главных создателей современной марксистской концепции древней истории. Чтобы представить себе характер и величину того вклада, который ученые-историки, подобные Ковалеву, внесли в строительство советской науки об античности, полезно еще раз напомнить о тех общих переменах, которые привнесла с собой революционная эпоха в отечественное антиковедение, о тех новых задачах, которые победа социализма в нашей стране поставила перед учеными, представлявшими столь редкостную область исторического знания.

В самом деле, как и во всех других областях исторической науки, в отечественном антиковедении с победой социалистической революции начался новый, качественно иной (хотя, как мы теперь понимаем, и не безусловно более высокий) этап развития. Революция принесла с собой торжество новых идей и в этой, казалось бы, наиболее консервативной области исторического знания. Под воздействием революционной обстановки, под натиском новых, марксистских идей произошел коренной сдвиг во взглядах молодого поколения отечественных антиковедов на предмет, цель и задачи своей науки, на методы изучения древней истории, на относительную значимость отдельных периодов и проблем.

Прежде всего существенно изменился самый предмет исследования. Наметившийся еще до революции поворот в сторону изучения социально-экономической истории древности (работы И.М.Гревса, М.И.Ростовцева, М.М.Хвостова) стал теперь свершившимся фактом. При этом, однако, самая трактовка этого предмета получила ярко выраженный избирательный, идеологизированный характер: жизнь и быт народа, положение трудящихся масс, социальная **[428]** борьба и революционные движения в древности - вот те проблемы, которые должны были стать и действительно стали центральным объектом изучения.

Но сдвиги коснулись не только предмета исследования - изменился самый метод (в его историко-философском понимании), изменились исходные представления о сущности исторического процесса, о задачах и пределах его познания. На смену распространенному в старой науке, достаточно расплывчатому представлению о естественной целесообразности исторического процесса пришло стройное (но вместе с тем и жесткое в своей безусловной определенности) марксистское учение об исторических закономерностях в общественном развитии, о последовательном ряде социально-экономических формаций, закономерно возникающих и сменяющих друг друга. Рабству, в частности и античному, в этом ряду было отведено место первой классовой формации.

Одновременно изменились требования, предъявляемые и к форме изложения. Революция пробудила к культурной жизни многомиллионные массы народа. Впервые аудитория, к которой обращались ученые, стала действительно массовой. В этих условиях колоссально возросли роль и значение популярных способов изложения, лекций и литературы, способных в простой и доходчивой форме донести до масс необходимые им элементарные знания. Что такое форсированное решение образовательных задач неизбежно должно было сказаться на уровне собственно научном, ведя к его снижению, - это понятно и не требует особых разъяснений. Так или иначе, повинуясь велению времени, все наши крупные ученые в 20-х и 30-х годах были не только исследователями, но и популяризаторами, в своей работе учитывавшими интересы широкой народной аудитории.

Перелом произошел не только во взглядах ученых и в манере преподавания - решительной перестройке подверглись организационные формы научно-исследовательской и учебной работы. Вследствие тех преобразований, которые были произведены в этой области в первые два десятилетия советской власти, отечественная наука об античности перестала быть делом отдельных университетских профессоров и академиков. Впервые она получила более общую организационную основу в виде академических институтов и университетских кафедр с большими коллективами сотрудников, чей труд был объединен и координирован наличием единой научной **[429]** программы или плана. Но в силу этого резко возросло значение таких ученых, которые могли совмещать в своем лице не только оригинального исследователя и популярного лектора, но и авторитетного организатора нового, масштабного научного и учебного дела.

К числу таких именно ученых и принадлежал С.И.Ковалев. При этом надо с самого начала указать на безусловную личную честность ленинградского профессора. В постсоветское, так называемое перестроечное время стало модным критиковать буквально все черты прежней общественной жизни, в том числе, разумеется, и деятельность строителей новой советской гуманитарной науки. Их принято стало изображать этакими бессовестными служителями злокачественной тоталитарной системы, насаждавшей рабскую идеологию, заменившей служение научной истине - преклонением перед псевдооткровениями марксизма, уничтожившей всякую свободу мысли.

На наш взгляд, это - крайне упрощенное, тенденциозное представление. Отрицательные свойства советской общественной системы, включая и тоталитаризм, не должны затемнять больших творческих успехов советского народа и его интеллигенции. Марксистская социологическая философия была и остается одним из самых высоких духовных достижений ХIХ века, этого последнего столетия подлинной гуманитарной культуры, и уж во всяком случае она не в ответе за тот исторический эксперимент, который был осуществлен в России ее экстремистски настроенными последователями. Равным образом и марксистский исторический материализм имеет и будет сохранять свой raison d'etre, поскольку остается неопровержимой сама материалистическая концепция мира. А в этой связи не утрачивает своего значения даже такое существенное звено марксистской исторической теории, как формационное учение, возведенное в догму в советское время и ставшее дурной притчей во языцех для всех поборников свободной мысли.

Короче говоря, злокачественные черты реализованной экстремистами системы не должны затемнять здравого смысла исходного философского учения точно так же, как насильственное втискивание догматиками всемирного исторического процесса в прокрустово ложе пяти социально-экономических формаций не должно вести к отрицанию их приложимости по крайней мере к одному, но важнейшему региону мировой истории, - к Западной Европе. И наконец, **[430]** начетничество и догматизм массы порожденных советским режимом усередненных историков-пропагандистов, или, как их официально величали, бойцов идеологического фронта, не должны компрометировать ученую деятельность таких высоко интеллигентных людей, еще до революции увлекшихся марксизмом и позднее, в советское время, с умом и совестью прилагавших его к истории, как А.И.Тюменев или тот же Ковалев.

Биография С.И.Ковалева, внешне почти лишенная каких-либо особенных перепадов, по-своему весьма интересна.2 Она типична для человека, вышедшего из средней русской интеллигентной прослойки, традиционно тяготевшей к революционному движению. Будущий историк-марксист родился в 1886 г. на Урале в семье управляющего имением. В нем рано проснулся интерес к общественной жизни, и еще в юношеские годы он включился в революционную деятельность. До 1904 г. он учился в Уфимской гимназии, когда, как он сам пишет в своей автобиографии, "в связи с участием в революционном движении, вышел из VIII класса".3 Весной 1908 г. он сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости и осенью того же года поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Через два года он перешел на историко-филологический факультет, и с этих пор занятия историей - изучение, преподавание, исследование - становятся главным делом его жизни.

Не кончив университетского курса, С.И.Ковалев в 1915 г. оказался на военной службе и только после демобилизации, в 1918 г., сумел возобновить свои занятия в университете. Тогда же он начал преподавать в средних учебных заведениях Петрограда, в том числе и в школах рабочей молодежи. С 1919 г. он вновь на военной **[431]** службе в Красной Армии, где, находясь на культурно-просветительной работе в качестве преподавателя истории на различных курсах, а более всего в Военно-политической академии им. В.И.Ленина, оставался до 1938 г. Без отрыва от службы в РККА он в 1922 г. окончил историко-филологический факультет Петроградского университета, с 1924 г. стал преподавать в университете и педагогическом институте, а в 1930 г. был приглашен на работу в Государственную академию истории материальной культуры (ГАИМК), где возглавил сектор истории древнего мира. Сотрудником ГАИМК Ковалев был вплоть до 1937 г., а в системе Академии наук СССР работал и позже, и в частности в Ленинградском отделении Института истории АН СССР, откуда ушел только в 1950 г.

Между тем решениями Коммунистической партии и Советского государства в 1934 г. были восстановлены - разумеется, на новой идеологической основе - правильное преподавание и изучение гражданской истории в средней и высшей школе. В том же году С.И.Ковалев был назначен заведовать кафедрой истории древнего мира (позднее - истории древней Греции и Рима) на вновь открытом историческом факультете Ленинградского университета. На этом посту он проработал (с некоторыми перерывами) до 1956 г., а вообще в университете - до 1958 г. В последние годы жизни он работал также в Музее истории религии и атеизма АН СССР, где был директором с 1956 г. и до самой смерти.

Таков внешне достаточно сухой послужной список С.И.Ковалева. Однако как на самом деле была насыщена трудами и интересными, важными свершениями жизнь этого человека! Годы первоначальной преподавательской деятельности в средней школе, в университете, а более всего в Военно-политической академии были временем выработки того великолепного педагогического и, конечно же, лекторского мастерства, которое позднее так восхищало в Ковалеве его многочисленных слушателей в университете, на курсах повышения квалификации для учителей, в различных популярных аудиториях. Вместе с тем это было время первых научно-популярных литературных опытов, выросших из обработки лекционных курсов. Мы имеем в виду, в частности, обширный, в двух частях, "Курс всемирной истории" (Пг.-Л., 1923-1925) и пособие "для самообразования" - "Всеобщая история в популярном изложении" (ч.I, Л., 1925), оба посвященные главным образом истории древнего мира.

**[432]** С другой стороны, годы активного сотрудничества в ГАИМК были для С.И.Ковалева временем интенсивной теоретической работы, собственного глубокого проникновения в марксистско-ленинскую концепцию исторического процесса и энергичного приобщения к этой теории других, временем первоначального опробования марксистского учения в приложении к истории древнего мира. Образованная еще в 1919 г., взамен прежней Археологической комиссии, Государственная академия истории материальной культуры сыграла выдающуюся роль в жизни молодого советского антиковедения.4 Это учреждение, работавшее в тесном контакте с Академией наук СССР и позднее (в 1937 г.) вошедшее в ее состав в качестве Института истории материальной культуры (ныне Институт археологии [в Москве]), в 20-е и 30-е годы было практически крупнейшим в нашей стране центром по изучению древней истории. Более того, ГАИМК стала своеобразной основой для формирования в середине 30-х годов в этой отрасли гуманитарного знания новых научно-учебных центров. Ныне существующие секторы античной истории и античной археологии в академических институтах - родные детища этого учреждения. Равным образом, выработанные здесь идеи и принципы и воспитанные на них ученые стали тем живительным ферментом, который помог возродить на новой основе университетскую науку об античности.

Сотрудниками ГАИМК были и старые заслуженные ученые-классики типа С.А.Жебелева и Б.В.Фармаковского, и новые крупные ученые, приобретшие известность именно в эти годы (академики А.И.Тюменев и В.В.Струве, профессора Б.Л.Богаевский, Е.Г.Кагаров, Т.Н.Книпович, С.И.Ковалев, О.О.Крюгер, М.И.Максимова), и молодые ученые и аспиранты, еще только набиравшиеся сил (М.С.Альтман, Н.Н.Залесский, Д.П.Каллистов, К.М.Колобова, А.В.Мишулин, Р.В.Шмидт и др.). Для всех них, независимо от возраста и ученых заслуг, ГАИМК была универсальным пристанищем, совмещавшим в себе качества научно-исследовательского центра и высшей школы. Усилиями ученых старой **[433]** формации здесь, насколько это было возможно в годы революционной ломки, поддерживались традиции классического образования и прежнего, строго позитивного научного знания. В то же время стараниями нового поколения, с энтузиазмом обратившегося к освоению марксистских идей и метода, здесь реально подготавливался и в конце концов свершился переход отечественного антиковедения на марксистские рельсы. Первую линию в особенности представлял С.А.Жебелев, вторую - С.И.Ковалев, А.И.Тюменев и В.В.Струве. Сосуществование и взаимодействие этих двух, диаметрально противоположных направлений было делом непростым, и если между ними в конце концов наметилось известное сближение, то объяснялось это не только прямым идеологическим давлением коммунистических кругов, но и интеллигентностью и тактом таких новых лидеров, как Ковалев. Ему, в частности, удалось склонить патриарха отечественного антиковедения Жебелева к сотрудничеству в разработке такой актуальной, с точки зрения новой советской науки, проблемы, как восстания рабов в древнем мире.

Надо, впрочем, заметить, что и для нового поколения освоение марксистской философии истории и методологии было делом отнюдь не простым и не мгновенным. Первые попытки пересмотреть античную историю с марксистских позиций не были свободны от серьезных недостатков и даже ошибок: древнюю историю старались объяснить главным образом с точки зрения социально-экономической, но при этом не учитывали специфичности античной экономики; модернизируя отношения, сближали античное общество с феодальным и даже капиталистическим.

Эти недостатки в полной мере были присущи и ранним работам С.И.Ковалева, его упоминавшимся выше обзорам древней истории (в рамках всеобщей истории). Как общества Древнего Востока, так и ранняя Греция и ранний Рим трактовались там как типично феодальные. Расцвет феодальных отношений в Древней Греции был отнесен к VIII в. до н.э., последующее время, отмеченное развитием товарно-денежных отношений, связывалось уже с кризисом феодализма, а классическая эпоха (V-IV вв.) изображалась как эра господства торгового капитала. Афины периода расцвета представлялись буржуазно-демократической республикой, Перикл - вождем торговой партии, а Пелопоннесская война - столкновением соперничающих капиталистических групп в лице Афинского и Пелопоннесского **[434]** союзов.5 Надо, однако, заметить, что подобного рода взгляды на античную историю были вообще широко распространены в тот период. Исключение составляли разве что работы А.И.Тюменева, который первым, уже в начале 20-х годов, выступил против модернизации античности и стал трактовать древнегреческое общество - но только его одно - как особенное, в отличие от феодального или капиталистического основанное преимущественно на рабстве.6

Большую роль в деле преодоления этих модернизаторских концепций и выработки более соответствовавшего теории марксизма взгляда на античность как на особую формацию сыграло опубликование в 1929 г. знаменитой, прочитанной еще в 1919 г., лекции В.И.Ленина "О государстве", где была дана четкая, подчиненная социально-экономическому принципу схема развития человеческого общества как череды соответствующих периодов - рабовладельческого, феодального, капиталистического и социалистического. Развернувшаяся вслед за этим в ГАИМК в 1929-1933 гг. дискуссия об общественно-экономических формациях способствовала выработке окончательного взгляда на античность как на определенную стадию в развитии человеческого общества, как на античную рабовладельческую формацию.

С.И.Ковалев стоял в центре этой захватившей современников работы. Обладая ясным, логичным умом, несомненной эрудицией и талантом оратора-полемиста, будучи от природы человеком энергичным и целеустремленным, он как нельзя лучше подходил на роль научного руководителя. Умело сплачивая в единую исследовательскую группу историков и археологов, ученых старой формации и новых молодых специалистов, тактично, но твердо руководя научными спорами и задавая им тон собственными принципиальными выступлениями, он был, по отзыву современников, душою свершавшегося творческого процесса.7 Свидетельствами его собственных **[435]** огромных усилий по переводу старой науки о классической древности в новое русло, по внедрению марксизма в антиковедение, по выработке научно обоснованной концепции античного рабовладельческого общества являются осуществленные им в ту пору многочисленные и важные публикации. Это, прежде всего, две знаменитые, хорошо известные каждому советскому антиковеду хрестоматии - "К.Маркс и Ф.Энгельс об античности" (Л., 1932) и "Античный способ производства в источниках" (Изв. ГАИМК, вып.78, Л., 1933, совместно с С.А.Жебелевым), а также целый ряд других оригинальных теоретических работ - брошюр и статей.8

Разумеется, эти работы С.И.Ковалева тоже не были еще свободны от некоторых недостатков - теперь, с расстояния в полстолетия, это хорошо видно. В обращении ученого к наследию основоположников марксизма чувствуется известный формализм (преимущественное внимание к цитате); основные построения отличаются схематизмом, что наглядно демонстрируется положением о революциях формационного уровня, необходимо обусловивших рождение и гибель античного рабовладельческого общества, в особенности же - тезисом о социальной революции низов, якобы сокрушившей античный мир; конкретные выводы также страдают излишней прямолинейностью и категоричностью. Однако сейчас, в той связи, в какой ведется наше изложение, важно подчеркнуть другое: в пору становления марксистской науки об античности, в период ожесточенной борьбы с модными ранее концепциями идеализма или позитивизма, с прямыми искажениями, порожденными крайним модернизаторством или его дурным антиподом - примитивизацией античности в духе К.Бюхера, труды Ковалева, фиксируя внимание на главном, а именно на своеобразии социальных отношений, на формах собственности, на фундаментальном значении рабства в античности, **[436]** бесспорно сыграли большую конструктивную роль.9 Формулируя новое кредо автора, они выражали вместе с тем и общее мнение авторитетной группы советских антиковедов, объединенных сотрудничеством в ГАИМК, усвоенное ими новое марксистское представление об античной рабовладельческой формации.

Выработанная таким образом в общих чертах концепция древней истории нашла естественное приложение в университетском преподавании. Вообще в жизни С.И.Ковалева с момента, когда он возглавил вновь созданную кафедру истории древнего мира (1934 г.), университет стал постепенно выходить на первый план. Ковалева всегда тянуло к преподаванию, к общению с широкой молодежной аудиторией; он умел и любил читать лекции. С увлечением отдавался он также новому и важному делу - составлению полноценных, опирающихся на факты и проникнутых марксистскими идеями учебников по древней истории. Ему было поручено руководить работою группы специалистов по написанию первого такого учебника для средней школы, который и вышел в свет в 1940 г. под редакцией А.В.Мишулина. Позднее, уже после войны, С.И.Ковалев издал собственный учебник для средней школы (История древнего мира. М., 1954), который отличали добротность и ясность изложения, наличие содержательного исторического рассказа, простое, но не в ущерб науке, объяснение хода древней истории, т.е. качества, которые безусловно необходимы, но не всегда присутствуют в современных пособиях.

Еще более трудоемким делом, если не сказать - более ответственным, являлась разработка нового университетского курса античной истории. С.И.Ковалев оказался тут в полном смысле слова новатором: такой курс, составленный из лекций, читанных на историческом факультете Ленинградского университета, был им издан уже в 1936 г.10 Это был первый созданный в советское время полноценный учебник по античной истории для высшей школы.

Конечно, не все в этом курсе было удачно; некоторые из развитых в нем идей были данью распространенным в то время социологизаторским построениям. Так, в 1-й части курса С.И.Ковалев, прямолинейно толкуя ход греческой истории как движение от безусловно **[437]** более примитивного состояния к более развитому, вслед за Б.Л.Богаевским признавал крито-микенское общество первобытно-общинным. Равным образом, в угоду стадиальному учению Н.Я.Марра он отрицал значение миграций, в частности и факт дорийского переселения, и в критянах, микенцах и последующих греках видел лишь исторические уровни одного и того же, в общем, эгейского массива. Во 2-й части столь же прямолинейным было утверждение о единой социальной революции, сокрушившей Рим. Начало этой революции, ее первый этап, Ковалев считал возможным видеть в восстаниях рабов II-I вв. до н.э. несмотря на то, что эти выступления были отделены от позднейших смут III-V вв. н.э. полосой стабилизации в целых три столетия и явно не имели никакого прямого продолжения в век Империи.11

Однако эти очевидные теперь слабости должны рассматриваться скорее как издержки роста, нежели как некий органический порок. Богатство поднятого исторического материала, как и его общая глубокая интерпретация с позиций марксизма, яркая демонстрация своеобразия античной цивилизации в отличие от обществ Древнего Востока, особенностей ее развития в Греции и Риме, значимости ее вклада в историю европейской культуры, наконец, живость и простота самого изложения сделали этот курс С.И.Ковалева своего рода образцом, на который равнялись потом многие аналогичные издания.

Что же касается самого автора, то для него этот курс явился важным этапным произведением, позволившим заново пересмотреть всю античную историю под углом недавно выработанной общей концепции и наметить новые темы для последующей специальной разработки. В несомненной связи с этим изданием стояли и последующие обобщающие труды по древней истории, осуществленные при участии и под руководством С.И.Ковалева. Мы имеем в виду опубликованную тогда же, т.е. еще в 30-е гг., в качестве одного из последних предпринятых ГАИМК коллективных трудов, "Историю древнего мира" в 3-х томах, из которых один был посвящен Древнему Востоку, а два других - Древней Греции.12 История Рима будет обработана и издана несколько позднее, уже после войны; **[438]** это и будет та книга, переиздание которой в середине 80-х годов дало нам повод составить первый набросок биографии ленинградского ученого.

Возвращаясь к изданной ГАИМК "Истории древнего мира", отметим, что С.И.Ковалев был редактором всего этого капитального труда и автором двух разделов в томе, посвященном классической и раннеэллинистической Греции: "Возвышение Македонии и завоевание Азии" (глава ХV) и "Философия и искусство Греции эпохи расцвета" (глава ХVII). Интерес к вопросам античной культуры не требует пояснений - он всегда был характерен для всех выдающихся исследователей античности, а Ковалеву был присущ, может быть, даже в большей степени ввиду его особенного внимания к общим историческим проблемам и в этой связи к тому вкладу, который античность внесла в историю европейской цивилизации вообще. Что же касается Греко-македонской державы Филиппа и Александра, то здесь мы несомненно сталкиваемся с более специальным научным интересом к политике, давшим, кстати, и первые специальные плоды.

Еще в 1930 г. С.И.Ковалев напечатал большую статью, посвященную складыванию Македонского государства при Филиппе и Александре.13 Анализ своеобразного патриархального уклада древней Македонии, выражавшегося в существовании унаследованной от героических времен царской власти, в одновременном засилье родовой знати, но также и в большой роли крестьянской массы и войскового собрания, привел Ковалева к важным, безусловно заслуживающим внимания выводам о характере политических отношений и борьбе группировок в правление Филиппа и Александра. Эти выводы были им развиты и уточнены как в названном разделе в "Истории древнего мира" и в вышедшей тогда же научно-популярной монографии об Александре,14 так и в серии статей, опубликованных уже в послевоенное время.15

В убийстве Филиппа в 336 г. до н.э. С.И.Ковалев справедливо **[439]** усмотрел последствия непрерывно развивавшейся конфронтации македонского царя, строившего сильное централизованное государство, с родовой знатью, цеплявшейся за свои древние, прямо-таки княжеские привилегии. Устранение Филиппа было делом рук представителей этой аристократии, тешившей себя надеждой - как оказалось, совершенно напрасной - на восстановление прежнего своего положения при новом юном царе. В свою очередь, недоразумения между Александром и его ближайшим окружением во время Восточного похода явились следствием разногласий между царем-завоевателем и новой македонской знатью "филипповской формации", с тревогой следившей за опасной, как им представлялось, трансформацией Македонского государства в наднациональную мировую державу, а их царя - в монарха восточного стиля. Устранение недовольных оказалось для Александра делом нетрудным, поскольку основная масса македонских воинов осталась на первых порах равнодушна к выступлениям оппозиции. Недовольство этой массы проявилось лишь позднее - отчасти во время стоянки у Гифасиса, когда усталые солдаты отказались следовать за царем в глубь Индии, а в особенности по возвращении из похода, в Описе, в связи с развернувшейся реорганизацией армии и широким привлечением к военной службе восточных элементов.

По сравнению с этим интересом к македонской политике специальное обращение С.И.Ковалева к проблемам римской истории обнаруживается чуть позже. Это обращение несомненно стояло в связи с теми общими историко-философскими, или методологическими, исканиями первого поколения советских антиковедов, для реализации которых римский материал оказался особенно благодатной почвой. И первой здесь естественно явилась тема рабских восстаний, позволившая на конкретном материале опробовать важнейшие положения марксизма о ведущей роли классовой борьбы и социальных революций в истории. Первым опытом Ковалева в этой области стала большая статья, написанная в содружестве с С.А.Жебелевым, о великих восстаниях рабов в Риме в период поздней республики.16 К этому сюжету в плане конкретно-историческом С.И.Ковалев вернется и позднее в статье, специально посвященной **[440]** датировке спартаковского восстания.17

В теоретическом плане проблема великих восстаний рабов в Риме во II-I вв. до н.э., трактуемых как первый этап социальной революции, подведшей черту под античной рабовладельческой формацией, была обстоятельно рассмотрена С.И.Ковалевым в методологическом этюде 1934 г.,18 а затем, как было уже сказано, в университетском курсе 1936 г. Позднее, в послевоенное время, Ковалев пересмотрел этот свой тезис и, считаясь с исторической реальностью, высказал более осторожное и более обоснованное мнение как о восстаниях рабов, так и в целом о Гражданских войнах в Риме в последние века Республики. "Гражданские войны II-I вв., - писал он в 1947 г., - не были социальной революцией. Они являлись очень сложным революционным движением, направленным против всей системы социально-политических отношений той эпохи. Это были восстания рабов против господ, восстания провинциалов против римских угнетателей, это была борьба за землю деревенской бедноты, борьба италиков за права гражданства, борьба римской демократии, городской и сельской, против олигархии нобилей. Это было мощное, сложное и длительное революционное движение, но оно не могло перерасти в революцию. Оно было подавлено благодаря стихийности восстаний рабов и их изолированности от движений свободного населения, благодаря слабости римской и италийской демократии, благодаря крепости всей римской рабовладельческой системы. Оно было подавлено и, в конечном результате, привело только к созданию военной диктатуры, к новой политической системе, известной под названием "империи"".19

Подлинная социальная революция, знаменовавшая конец античного мира, развернулась, как указывал теперь С.И.Ковалев, лишь в III-V вв., и носила она гораздо более сложный характер, поскольку наряду с рабами и вместе с ними выступали уже и колоны, а наряду с низами римского общества - еще и соседствовавшие с Римом племена варваров. Эту революцию Ковалев по-прежнему именовал "революцией рабов", хотя у него одновременно уже являлось **[441]** и более развернутое определение: "социальная революция рабов и колонов".20

Эта точка зрения нашла отражение и в опубликованном С.И.Ковалевым в 1948 г. университетском курсе истории Рима. Позже он еще раз вернулся к названной проблеме. В статье 1955 г. он предельно уточнил характер антагонистических противоречий, подрывавших античное рабовладельческое общество в эпоху Империи, состав и взаимодействие тех сил,, которые направляли развитие кризиса.21 Не называя более разрушавшее античный Рим движение "революцией рабов", он, однако, не счел обязательным отказываться от более общего, принципиального положения о социальной революции, сокрушившей античную рабовладельческую формацию.22

Другие специальные темы римской истории, неоднократно привлекавшие к себе внимание С.И.Ковалева, это две, так сказать, крайние точки - становление римской гражданской общины и падение Западной Римской империи. Разработка первой темы нашла отражение в ряде работ, посвященных проблеме патрициев и плебеев, в особенности проблеме формирования этих двух римских сословий.23 Ковалев справедливо критиковал распространенные в науке теории происхождения патрициев и плебеев за их односторонность, обусловленную опорой на какой-либо один пласт античной традиции. В противовес им он выдвинул то, что он назвал "комплексной теорией": патриции первоначально были просто коренным населением Рима, но затем стали римской знатью, между тем как слой плебеев составился за счет переселения - добровольного или принудительного - в Рим жителей соседних подчиненных общин, может быть, даже благодаря чужеродным этническим привнесениям (этруски), а также, не исключено, вследствие социально-экономической деградации части коренного римского населения.

С другой стороны, С.И.Ковалева всегда интересовала и противоположная "горячая" точка римской истории - ее трагическое завершение. Он касался этого вопроса и в связи с обсуждением общей **[442]** проблемы социальной революции в античности, и в более конкретном историческом контексте, при разборе социально-экономических сдвигов в период поздней империи,24 и, наконец, в связи с изучением такого оригинального феномена, своего рода итогового продукта античной цивилизации, как христианство.

Античное христианство, и прежде всего его генезис, его происхождение, - еще одна, таким образом, наряду с эллинизмом и собственно римской историей, важная сфера научных изысканий С.И.Ковалева. В последние годы жизни она стала для него даже важнейшей - и вследствие самой природы античного христианства, соединившего в себе творческие импульсы угасавшей древней цивилизации и потому предоставлявшего возможность наблюдать, как через фокусирующую линзу, самое это угасание, и вследствие задач современной пропаганды, современной полемики с христианством, от которой Ковалев никогда не отгораживался. В особенности естественными и необходимыми стали для него занятия античным христианством с тех пор, как он возглавил работу Музея истории религии и атеизма. Эти занятия нашли отражение в массе работ - в популярных лекциях, публиковавшихся в виде отдельных брошюр обществом "Знание",25 в ряде научных статей и рецензий,26 наконец, в большом обобщающем исследовании по истории античного христианства, опубликованном уже посмертно в составе сборника избранных трудов Ковалева по проблемам христианства.27

По теме античного христианства С.И.Ковалев на протяжении ряда лет читал также в Ленинградском университете специальный курс, который с тех пор остается традиционным в учебном комплексе кафедры истории древней Греции и Рима. Автор этих строк дважды прослушал курс Ковалева о происхождении христианства, и хотя оба раза лектор так и не пошел далее обстоятельного разбора источников и литературы вопроса, впечатление было огромное. **[443]** Это было подлинное введение в научное изучение проблемы, доставлявшее надежное основание для дальнейших занятий тем, кто пожелал бы, вслед за учителем, опираясь на его работы, углубиться в историю раннего христианства.

В чем заключалась суть того научного подхода к теме христианства, который демонстрировал в своих лекциях и трудах С.И.Ковалев? В постановке и исследовании, в точном соответствии с указаниями основоположников марксизма, проблемы исторических предпосылок, т.е. тех объективных, закономерно действовавших факторов, - социально-экономических, политических, идеологических, психологических, - особенное сочетание которых и вызвало к жизни новую форму мировой религии, отвечавшей потребностям в утешении клонившегося к упадку античного мира, - религии Христа.

Этот подход вырабатывался в полемике с традиционной (как тогда говорили - буржуазной) наукой. Разбирая один из новейших трудов по истории христианства, опубликованный в рамках очередного западного руководства по всемирной истории, С.И.Ковалев писал: "Для подавляющего большинства буржуазных исследователей раннего христианства вопроса об его исторических предпосылках вообще не существует. В лучшем случае представители так называемой мифологической школы изучали происхождение мифа о Христе, но они никогда не ставили по-настоящему вопроса даже об идеологических предпосылках христианства как религии, не говоря уже о предпосылках экономических и социально-политических. Тем менее могли серьезно заниматься проблемами генезиса христианства богословы и представители "исторической школы". Для них христианство - либо божественное откровение, для которого не нужно никаких исторических предпосылок, либо творение гениальной личности, стоящей, строго говоря, также вне времени и пространства".28

В собственных занятиях С.И.Ковалева по теме античного христианства отчетливо выделяются три сюжета: проблема объективных исторических предпосылок христианства; возникновение первых христианских общин, их состав, организация и идеология, включая и такой особенный вопрос, как идея и образ новозаветного мессии Христа (историческое существование которого он, естественно, отрицал); наконец, эволюция и так называемое перерождение **[445]** первоначального христианства. В последние годы жизни он живо откликнулся также на новые находки в районе Мертвого моря, справедливо усмотрев в самом факте возникновения и существования на рубеже старой и новой эры религиозных общин, подобных кумранской, еще одно подтверждение научного, материалистического взгляда на закономерность и естественность возникновения христианства.29

Рассмотрением трудов С.И.Ковалева по истории христианства мы практически исчерпали круг его специальных занятий. Разве что следовало бы еще упомянуть о характерном для него повышенном внимании к проблемам историографии, что придавало особенную глубину его научным суждениям. На кафедре истории древней Греции и Рима он читал большой курс по историографии античности, главным образом зарубежной, начиная от обзора судеб античного наследия на средневековом Западе и в Византии и кончая новейшими школами антиковедения. Будучи студентом, я слушал и этот курс Ковалева. Тогда он не произвел на меня особого впечатления, но позднее, когда мне пришлось самому читать курс историографии античности и удалось ознакомиться с сохранившейся машинописью лекций Ковалева, я был восхищен эрудицией и широтой взглядов моего прежнего университетского наставника и с тех пор строил свое изложение, ориентируясь на оставленный им образец.30

Так или иначе, очевидно, сколь глубоко и плодотворно разрабатывал С.И.Ковалев и общие, принципиальные вопросы научной методологии, и конкретные, но притом, что было для него всегда характерно, именно проблемные сюжеты античной истории, в особенности же - истории Рима. Не удивительно, что, когда он обратился, уже в послевоенные годы, к составлению нового полнокровного университетского курса римской истории, ему полностью сопутствовала удача.

**[445]** Надо сразу подчеркнуть, что успех опубликованной в 1948 г. "Истории Рима" объяснялся не только ее фундаментальными научными качествами - в немалой степени этому способствовала также и превосходная манера изложения. Мы уже говорили, что С.И.Ковалев был великолепным мастером устного выступления. Его лекции - ясные, точные, логичные, умело сочетавшие строгость научного изложения с яркостью образных зарисовок, - пользовались большим успехом у слушателей. Не подлежит никакому сомнению, что профессор тщательно готовился ко всем своим выступлениям. При нем всегда был конспект, записанный характерным крупным почерком на узких полосах бумаги - разрезанных в длину половинах тетрадных страниц. До выступления или в перерыве он мог сверяться с этими листками, но лекцию читал свободно, не прибегая к помощи текста. Обладая отличной, тренированной памятью, живостью воображения и хорошо разработанной литературной речью, он с видимой легкостью прослеживал развитие событий или мысли, рисовал четкие исторические картины, которые производили большое впечатление и надолго запоминались. Но, что особенно важно и что встречается не так уж часто, он мог сохранить эти качества и в своих письменных произведениях. Его "История Рима" - это один из самых обширных и содержательных, но вместе с тем и самых ярких и интересных университетских курсов по древней истории, изданных в советское время.

"Историю Рима" С.И.Ковалева отличают: зрелая научная методология, практически свободная от социологизаторства и догматизма предыдущей поры; большая внутренняя добротность, проявляющаяся во внимании к историческим фактам и тем источникам, на основе которых только и возможно их воссоздание; глубокая, нередко весьма оригинальная трактовка отдельных явлений или событий, таких, например, как происхождение и борьба патрициев и плебеев, конституция Римской республики и, особо, устройство Римско-италийской федерации, сицилийские и спартаковское восстания рабов, движение Гракхов и др. Автор умеет представить перед читателем, как ранее перед слушателем, не только события древней истории, но и ее героев. Тому, кто знакомился с курсом Ковалева, навсегда запомнятся набросанные автором яркие портреты Пирра, Ганнибала, Митридата, Суллы, Сертория, Цезаря и др. Наконец - и это надо подчеркнуть особо - ярко выраженная приверженность Ковалева историко-философской доктрине марксизма **[446]** нисколько не мешает ему представить общую объективно убедительную концепцию римской истории. Книга была высоко оценена в нашей печати,31 она вызвала большой интерес и за рубежом и дважды, между прочим, была переиздана в Италии (в 1953 и 1955 гг.).32

Разумеется, не все в книге С.И.Ковалева выдержало проверку временем. Наука непрерывно развивается, и за годы, прошедшие со времени первого издания его большого курса, многие важные моменты и явления римской истории подверглись пересмотру и уточнению. Вообще старение научного произведения - процесс естественный и неизбежный. Важна, однако, степень этого старения: одни устаревают безнадежно, другие долго еще продолжают оставаться полезными и могут вызывать интерес. Книга Ковалева относится к числу таких долгожителей. Она и сейчас может служить ценным пособием для основательного знакомства с заключительным этапом древней истории - с историей Рима, и достаточно лишь некоторых указаний, чтобы ввести читателя в курс свершившихся перемен и обеспечить ему возможность ориентации в современном потоке мнений.

Здесь необходимо прежде всего указать на некоторые общие положения С.И.Ковалева, впрочем, не влиявшие существенным образом на ход изложения, которые, с точки зрения современной науки, являются несколько схематичными и прямолинейными. Это, во-первых, встречающееся в разделе о Гражданских войнах II-I вв. до н.э. определение "массы пауперов и пролетариев, начиная с крестьян, умирающих с голоду на своих карликовых наделах, и кончая городскими люмпен-пролетариями", как "части рабовладельческого коллектива", как "фракции рабовладельческого класса" (с.336),33 что выдает упрощенное представление о структуре античного рабовладельческого общества. Позднейшие советские ученые стали различать в массе свободного населения, противостоявшего в античном обществе рабам, два класса - класс крупных собственников, рабовладельцев, и класс мелких свободных производителей, **[447]** крестьян и ремесленников. На долю последних, коль скоро они были гражданами, перепадали некоторые блага от рабовладельческого государства, но от этого они все-таки не становились частью рабовладельческого класса.34

Далее, упрощенной выглядит трактовка понятий "оптиматы" и "популяры" как обозначений четких политических групп - соответственно нобилитета и народной партии (см., в частности, с.373, прим.1). И здесь современная наука придерживается более осторожного и дифференцированного мнения: оптиматы и популяры - скорее обозначения известных политических линий, находивших воплощение в отдельных ярких политиках, в какой-то степени тоже - в формировавшихся вокруг них группировках, но не определения правильных политических партий, самая возможность существования которых в античности весьма проблематична.35

Другое уточнение касается сюжета, тоже относящегося к эпохе Гражданских войн, но более частного свойства, - деятельности народного трибуна Клодия. С.И.Ковалев видит в нем орудие, или агента, Цезаря в Риме в годы, когда сам триумвир находился в Галлии (с.444). Однако не исключено, что действия Клодия в Риме отличались большей самостоятельностью, что он опирался на широкие слои городского плебса, и что его выступление было одним из последних всплесков римского демократического движения.36

Наконец, еще один сюжет, тоже из времени Гражданских войн в Риме, но не из римской жизни. Мы имеем в виду выступление Савмака на Боспоре, которое С.И.Ковалев, вслед за С.А.Жебелевым, толкует как "восстание рабов-скифов" (с.385). Работа С.А.Жебелева вышла еще в 30-е годы.37 Развернувшаяся в послевоенное время **[448]** дискуссия сильно поколебала главные положения С.А.Жебелева: явились сомнения и в рабском статусе самого Савмака, и в общей трактовке его выступления как "восстания рабов-скифов".38

Другая группа вопросов, требующих известных оговорок и уточнений, связана с историей христианства. Подход С.И.Ковалева к античной традиции о христианстве отличался гиперкритицизмом: придерживаясь теории интерполяций, он отвергал, в частности, свидетельства Тацита и Светония о гонениях на христиан при Нероне (с.544 и 714), вопреки преданию отстаивал мнение о возникновении первых христианских общин за пределами Палестины, в Малой Азии (с.711-712). Надо, однако, заметить, что позднее Ковалев сам пересмотрел эти свои крайние взгляды, признав подлинность свидетельств Тацита и Светония и согласившись отнести возникновение первых общин иудео-христиан к Палестине.39

Наконец, еще одна проблема, которая заслуживала бы сейчас специального разбора, если бы мы по существу не сделали этого ранее, - проблема социальной революции в античном обществе. Укажем лишь, что тема эта продолжает оставаться дискуссионной, и что лучшим пособием для ознакомления с ведущимися здесь спорами являются в отечественной литературе работы московского историка С.Л.Утченко.40 В одной из последних книг Утченко "Цицерон и его время" читатель может найти содержательный обзор главных тенденций римской истории, рассмотренных с современной точки зрения, что могло бы служить превосходным общим коррективом к курсу С.И.Ковалева (по крайней мере, к первой его части).

Меня могут спросить: а почему, собственно, все эти необходимые поправки нельзя было внести в текст книги при подготовке ее к новому изданию, коль скоро я этим непосредственно занимался? На это надо ответить прежде всего, что высказанные выше замечания не носят безусловного характера, т.е. что обсуждавшиеся **[449]** только что положения не являются просчетами в собственном смысле, а служат выражением определенных научных установок, пусть ныне и оспариваемых. С другой стороны - и именно поэтому - труд С.И.Ковалева должен рассматриваться как произведение, отразившее усилия и достижения, идеи и даже манеру изложения, характерные для целого, весьма важного этапа в истории отечественной науки об античности. В этом смысле курс Ковалева ценен для нас как памятник своей эпохи. Так или иначе, опубликованная впервые в 1948 и переизданная в 1986 г. "История Рима" Ковалева - книга полезная и интересная. Она по-прежнему может служить источником добротной информации об античном мире, и ей несомненно суждено еще долго оставаться эталоном высокой исторической культуры.

Все, что до сих пор излагалось здесь о С.И.Ковалеве, являло собой переработку старой моей статьи, предпосланной переизданию его университетского курса. Теперь я хотел бы добавить несколько слов личного плана о том, каким мне запомнился старый профессор и какую роль он сыграл в личной моей судьбе.

Поступив на исторический факультет Ленинградского университета в 1950 г., я первоначально решил специализироваться по новой истории: с детских лет я зачитывался романами А.Дюма, преклонялся перед Наполеоном и мечтал заниматься историей Франции. Однако моего детского намерения хватило только на один семестр. Пока древнюю историю читали В.В.Струве и К.М.Колобова (первый - Восток, а вторая - Грецию), лекции которых меня не захватывали, я оставался верен своему первому решению. Но когда во втором семестре в большой 70-й аудитории начал читать свой курс Ковалев, все изменилось: он властно увлек меня своей манерой читать, четкой и спокойной, своей удивительно чистой и стройной речью, своим способом ясно и отчетливо преподносить материал и даже тем, как он держался перед аудиторией.

Ни до, ни после я никогда не видел столь совершенного воплощения университетского профессора. Не то чтобы он был важен и недоступен; нет, с ним всегда можно было вступить в разговор и даже посоветоваться по поводу своих трудностей. Но его доступность сочеталась с удивительным достоинством. В нем не было странностей, нередко, увы, присущих тем, кто читает лекции: ни невнятности В.В.Мавродина, ни странного тонкого фальцета В.В.Струве, ни столь же странного, но скрипучего голоса К.М.Колобовой, ни **[450]** их внешней неказистости. Конечно, это все были крупные ученые, а К.М.Колобова чуть позднее на долгие годы стала моей главной наставницей, память о которой я чту до сих пор. Но как преподаватели - и в лекциях своих, и в прочем университетском обиходе - они всегда казались мне какими-то ущербными, и только Ковалев безусловно отвечал моим представлениям о Профессоре с большой буквы.

Перед моим мысленным взором живо встает его невысокая, чуть сутулая фигура, облаченная в неизменный темносиний костюм, его голова с удлиненным профилем и седоватыми коротко подстриженными волосами. Я вижу его спокойно стоящим у кафедры (тогда в больших аудиториях еще были кафедры), или сидящим у стола во время камерных кафедральных занятий, или уютно откинувшимся в нашем старом кресле во время перерыва. Я помню также, как спокойно и уверенно он вел заседания кафедры, никогда, ни по какому поводу, не выходя из себя, вежливо, но не без сдержанного юмора отвечая на бурные наскоки всегда увлеченной чем-либо новым К.М.Колобовой или коротко и с достоинством осаживая становившуюся чересчур бесцеремонной нашу лаборантку Т.В.Прушакевич.

Признаюсь, я восхищался Ковалевым, и это восхищение через несколько недель привело меня на кафедру истории древней Греции и Рима. Но я не стал учеником Ковалева в точном смысле слова: летом, после первого курса, К.М.Колобова предложила мне заниматься греческим языком (приватно, у нее на дому), увлеклась этими занятиями сама и увлекла меня, и я пошел за нею разбираться в хитросплетениях, или, как чаще говорят в ученом мире, проблемах, греческой истории, которая и стала с тех пор главным предметом моих занятий.

При всем том мое почитание Ковалева осталось непоколебленным и связь с ним не прерывалась до конца его жизни. Помню, как скоро после того, как я перешел на кафедру античной истории, я как-то улучил момент и пожаловался ему, что не успеваю, из-за большой учебной загруженности по специализации, заниматься ровно всеми предметами и посещать все лекции, и как он, слегка улыбаясь, ответил мне, что и незачем всем заниматься одинаково, и таким образом подсказал мне естественный выход из положения. Я оказался понятливым и скоро приспособился переводить греческие или латинские тексты на скучных общих лекциях по истории **[451]** партии или философии, а с IV курса и вовсе перестал посещать все общие неспециальные курсы, высвободив таким образом массу времени для занятий античностью.

В те годы на кафедре было немного студентов-античников (не было никакой количественной разнорядки), и отношения профессоров и их подопечных отличались завидной простотой и патриархальностью. Я уже упоминал, как просто вовлекла меня К.М.Колобова в домашние занятия греческим языком. Столь же просто приглашал к себе домой студентов и Ковалев, и я рано приобщился к большим домашним собраниям-ужинам у него на квартире. Он жил тогда с женой, дочерью и старинным своим другом академиком-правоведом А.В.Венедиктовым в просторной, по настоящему профессорской квартире на Большой Московской (у нынешней станции метро "Владимирская"). Помню огромный кабинет, разделенный надвое длинным высоченным стеллажом, по одну сторону которого царил Ковалев, а по другую - Венедиктов. Помню большую столовую, в которой за одним столом усаживалось до десятка и более людей - членов семьи, родственников (у Ковалевых всегда обретались две-три пожилые родственницы), гостей, среди которых нередко бывали и аспиранты, и студенты. Атмосфера была добрая и спокойная, разговоры всегда интересные, а для молодого человека, каким я тогда был, все было преисполнено особого значения, ибо в этой милой дружеской обстановке исподволь я проникался чувством принадлежности к нашей общей корпорации.

На своем курсе я был единственным студентом-античником, кафедральные курсы я нередко слушал с другими группами, где было по несколько студентов, но бывали случаи, когда лекции читались мне одному (и такое могло быть в те годы!). Как бы там ни было, зачеты и экзамены по курсам Ковалева я сдавал у него дома, и возникавшая тогда невольно доверительная обстановка не столько экзамена, сколько дружеской беседы, также была драгоценным способом сближения ученика с высоким миром учителей.

Заключая эти краткие заметки, скажу со всею откровенностью: С.И.Ковалев был первым из университетских наставников, кто ввел меня в высокий мир науки, и потому он стал для меня фигурою символической в лучшем смысле слова. Пусть другие говорят о мрачных сторонах советской действительности, об идеологической ангажированности и упадке образования и науки, об ученых служителях режима, втиснувших историю в Прокрустово ложе марксистской **[452]** догмы. Для меня университет и тогда был подлинным храмом науки, и среди служивших там науке я без всякого стеснения первым назову замечательного профессора древней истории, искренне увлекавшегося новой доктриной, но сохранявшего высокие культурные традиции русской интеллигенции Сергея Ивановича Ковалева.

2. Соломон Яковлевич Лурье (1891-1964 гг.)41

Для любого, кто интересуется историей научной мысли в своей стране, нет ничего более интересного и увлекательного, чем знакомство с биографией выдающегося отечественного ученого. Жизнь и научное творчество одного из крупнейших наших антиковедов Соломона Яковлевича Лурье в этом плане особенно примечательны. В них, как в зеркале, отразились все испытания, которые судьба уготовила российской интеллигенции в ХХ в.: и восторги революционного подъема, и увлечения новыми истинами, и отрезвляющее воздействие жизненного и научного опыта.

Обладая натурою яркою, одаренною, деятельною, Лурье сделал максимум возможного на том жизненном поприще, которое он для себя избрал, - на поприще ученого-гуманитара, исследователя античной истории, в особенности истории и культуры Древней Греции. Глубоко переживая современные ему бурные перемены в общественной и духовной жизни России, он в рано увлекшей его античности старался отыскать схожие процессы и явления и на их примере и с их помощью яснее представить и себе и другим суть происходящего в новое время.

Эта поверенная на античном материале реакция на современность не была сугубо рефлектирующей; быстрая и полнокровная, она выплескивалась в чрезвычайно продуктивной исследовательской, литературной и педагогической деятельности. Сталкиваясь все более и более с возраставшим идеологическим давлением советской системы, эта деятельность неизбежно должна была приводить к трениям и конфликтам, чему немало способствовал характер ученого - скромного и даже застенчивого в обиходе, но весьма резкого **[453]** и бескомпромиссного в публичных выступлениях, устных или литературных. Свою долю обусловленных этим официальных гонений Лурье вынес сполна.

Но если личная судьба С.Я.Лурье интересна как еще одно яркое отражение характерной для советского времени коллизии живой индивидуальности с каменеющей официальной идеологией, то не менее значимо и представляет совершенно самостоятельную ценность также и его научное творчество. Крупный ученый, автор более 200 научных работ, в том числе более 20 отдельно изданных книг, живо откликавшийся в своих публикациях как на вновь обнаруженные материалы, так и на новые оригинальные идеи, всегда старавшийся открыть какие-то иные, не замеченные другими, черты в давно, казалось, изученной истории античности, Лурье оставил нам богатейшее научное наследие. Его изучение само по себе представляет задачу большой историографической важности, поскольку в нем так же, как и в творчестве других представителей старшего поколения советских антиковедов (в Ленинграде/Петербурге - таких, в частности, как С.И.Ковалев, К.М.Колобова, А.И.Доватур и др.), предметно реализовалось развитие отечественной науки об античности в первые, самые трудные десятилетия после того грандиозного и драматического перелома, каким стала в жизни России Октябрьская революция 1917 г.

Как сложились дела в такой традиционно весьма консервативной области научного знания, какой была наука о классической древности, какие перемены она испытала под воздействием общих революционных сдвигов, как сильно актуализировалась под влиянием новых историософских концепций и, в первую очередь, марксизма, - для суждения об этом научное наследие С.Я.Лурье предоставляет отличную, несравненную возможность. А если учесть к тому же, что речь идет об ученом, не столь уж далеко, по меркам истории, отстоящем от нашего времени, то очевидным окажется и другое, чисто практическое назначение такого обращения к чужому опыту. Знакомство с трудами Лурье может явиться для каждого из нас отличным способом приобщения к ряду все еще актуальных проблем и идей антиковедения ХХ века, до некоторой степени - способом шлифовки собственной научной подготовки.

Наконец, помимо всех этих общих соображений, надо указать на еще один конкретный повод нашего обращения к теме С.Я.Лурье. Это - предпринятое, наконец-то, по инициативе кафедры античной **[454]** истории Петербургского университета новое, полное издание его университетского курса "История Греции". Первая часть этого курса была опубликована еще в 1940 г., вторая (и без малого вдвое большая) была подготовлена к изданию, но уничтожена на последней стадии набора в 1948 г.

Выпавшие на долю этого труда и его автора испытания были поистине драматические - этого отрицать не приходится. Однако, чтобы разобраться по существу в истории с курсом Лурье, необходимо ближе познакомиться с личностью, жизненным путем и деятельностью автора. Тогда мы сможем более осознанно судить как о научных и литературных достоинствах этого во всяком случае наиболее подробного (из существующих на русском языке) университетского курса греческой истории, так и о тех особенных обстоятельствах, которые затянули полное опубликование его чуть ли не на полвека.

Соломон Яковлевич Лурье родился 25 декабря 1890 по старому или 7 января 1891 г. по новому стилю в интеллигентной еврейской семье в Могилеве.42 Отец его, видный врач-окулист, был убежденным приверженцем либеральных и даже радикальных идей (в духе Д.И.Писарева) и держался материалистических научных взглядов, отвергавших любые формы мистицизма и признававших в качестве критерия истины одну лишь объективную рационалистическую логику. Эти взгляды полностью были усвоены и его сыном - будущим историком античности.

По окончании гимназии в Могилеве Соломон Лурье в 1908 г. поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где стал специализироваться по классической древности - по греко-римской филологии и истории. Его формирование как ученого проходило в русле уже сложившейся к тому времени Петербургской исторической школы, отличительными признаками которой были стремление к научной точности и достоверности, преимущественная **[455]** опора на исторический источник и ориентация на возможно полную реконструкцию отдельных фактов до (т.е. раньше) теоретической, идейной интерпретации исторического процесса в целом. Пафос исследований Петербургской школы в области классической древности заключался в стремлении постичь античность самым что ни на есть адекватным образом, опираясь по возможности на нее самое, на оставленные ею материалы, без привнесения в антиковедение общих и, как казалось, не относящихся к делу концепций.

Столпами этого направления на рубеже столетий были в Петербургском университете выдающиеся эллинисты - родоначальник русской эпиграфической школы Ф.Ф.Соколов и его ученик С.А.Жебелев. Последний и стал едва ли не главным наставником С.Лурье в университете. От него молодой ученый воспринял принципы строго научного антиковедения, стремившегося к синтезу исторических задач и филологических приемов, а также понимание значения и вкус к использованию эпиграфических документов. Другим университетским наставником Лурье был ученик и младший коллега Жебелева И.И.Толстой, который, помимо прочего, привил своему подопечному интерес к изучению древней литературы и фольклорных мотивов, искусство их сравнительного анализа и сопоставления с исторической средой. Сильное влияние на Лурье оказал также блестящий петербургский филолог-классик Ф.Ф.Зелинский - глубокий эрудит и вдохновенный интерпретатор идей античности, не принадлежавший собственно к школе Соколова и со страстью отстаивавший более широкий взгляд на духовный мир древних греков и римлян, на его тесное соприкосновение с культурою нового времени и возможность обнаружения и постижения вполне современных идеалов на почве античности.

Все это было воспринято С.Лурье не механически, а во взаимодействии с тем комплексом более общих идей и представлений, которые были усвоены им из уроков отца и благодаря знакомству с передовой научной и просветительской литературой. Результатом явилась выработка собственной, достаточно причудливой и по видимости эклектичной, но чрезвычайно богатой духовными импульсами и, в общем, весьма добротной системы воззрений, где усвоенный в университете строгий историко-филологический метод соседствовал с жгучим современным интересом, а общая приверженность материалистическому монизму дополнялась более конкретными **[456]** увлечениями и идеями, почерпнутыми из эволюционной теории Дарвина или этноантропологической школы Фрэзера. При всем том эта система обладала своим центральным звеном, которое оставалось неизменным. Это было убеждение в объективной детерминированности исторического процесса - концепция, которая придавала решающее значение в историческом развитии действию объективных материальных факторов и соответствующих законов и сводила к нулю роль субъективного момента, роль индивидуальной воли и личного действия.

Курс обучения в Петербургском университете С.Я.Лурье завершил вполне уже сложившимся ученым. Это подтверждается высокой оценкой его выпускного сочинения, посвященного истории Беотийского союза, сюжету из политической истории Греции V-IV вв. до н.э. Оно было удостоено большой золотой медали (1911 г.), а вскоре было и опубликовано, сначала в виде серии статей (в "Журнале Министерства народного просвещения" за 1914 г.), а затем и отдельной книгой (Беотийский союз. СПб., 1914).

По рекомендации С.А.Жебелева Лурье был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию (что-то вроде современной аспирантуры). Казалось, обстоятельства складывались самым удачным образом и впереди открывался путь для успешной научной карьеры, однако начавшаяся в России с Первой мировой войной полоса потрясений и смут спутала карты и надолго отдалила достижение профессуры. Лишь после долгих мытарств, выпавших, впрочем, в годы революционного лихолетья на долю не одного только Лурье, он смог приступить, наконец, к работе в Петроградском университете (1923 г.).

С этого времени положение С.Я.Лурье обретает достаточную устойчивость, что немедленно сказалось и на его ученой деятельности. Начав печататься еще накануне мировой войны (первая публикация относится к 1913 г.) и, невзирая на все трудности, находя позднее способы каждый год выступать в печати с одной или двумя работами, он с 1924 г. стремительно расширяет круг своих научных занятий, резко увеличивает число ежегодных публикаций, доводя их в иные годы до десятка, и очень скоро вырастает в фигуру первой величины в новом советском антиковедении. После досадной интермедии на рубеже 20-30-х годов, когда преподавание истории было изгнано из университета, с восстановлением в 1934 г. правильной структуры исторических факультетов, а на них в Москве **[457]** и Ленинграде - специальных кафедр древней истории, Лурье становится одним из ведущих преподавателей - историков древности в Ленинградском университете. В том же 1934 г. ему была присвоена ученая степень доктора исторических наук.

На 30-е и 40-е годы падает расцвет научной деятельности С.Я.Лурье, и в те же годы он становится одним из самых видных ленинградских профессоров - учителей науки. Огромная эрудиция и живость мысли, сообщавшие оригинальность и глубину его научным суждениям, большое педагогическое мастерство, с особым блеском проявлявшееся в практических, семинарских занятиях по древней истории и в преподавании древних языков и эпиграфики, привлекали к нему вдумчивую университетскую молодежь. Вокруг Лурье складывается целый круг учеников, которых он приобщал к высоким принципам не только научно-исследовательской работы, но и гражданского поведения, и которые платили ему за это искренним восхищением и любовью. К этой славной плеяде "лурианцев" относятся те, кто в дальнейшем сами стали видными учеными-антиковедами, чьи имена и заслуги хорошо известны в ученом мире: И.Д.Амусин, позднее ставший архегетом советского кумрановедения, В.Г.Борухович, М.Н.Ботвинник, Л.М.Глускина, Б.Б.Маргулес, Е.А.Миллиор, Э.И.Соломоник, эти все сохранившие главное направление работ своего учителя, т.е. исследовавшие, как и он, главным образом проблемы древнегреческой истории.

Война и последовавшая эвакуация из Ленинграда прервали эту плодотворную деятельность. Впрочем и во время войны С.Я.Лурье не прекращал совершенно своих научных занятий и даже подготовил и защитил специальную диссертацию на степень доктора филологических наук (1943 г.). С окончанием войны Лурье вновь - одна из центральных фигур на историческом факультете Ленинградского университета. Однако, как оказалось, ненадолго. Счастливо прошедший через полосы массового террора 20-х и 30-х годов, он, наконец, также оказался задет советской колесницей Джагернаута. В 1948-1949 гг., когда новое наступление на интеллигенцию, на этот раз сопряженное с самым низменным шовинизмом, выплеснулось в пресловутую борьбу с космополитизмом, Лурье, который и до того неоднократно попадал в трудные положения из-за своей человеческой и научной прямоты, стал объектом крутой тенденциозной проработки (тогда-то и был рассыпан набор второй части университетского курса "История Греции"), а с 1 июня 1949 г. он был **[458]** уволен из Ленинградского университета "за несооответствие занимаемой должности".

Для ученого, к тому времени прочно вросшего в университетский быт, отлучение от его естественного очага обернулось тяжким испытанием. Поначалу совершенно невозможно было найти работу по специальности. Некоторое время (около года) С.Я.Лурье состоял младшим научным сотрудником Комиссии по истории физико-математических наук (нынешний Институт истории естествознания и техники Российской Академии наук), куда он был определен по ходатайству тогдашнего президента Академии наук С.И.Вавилова. Формальным - впрочем, весьма достаточным - основанием для этого послужила долголетняя работа Лурье по проблемам истории античной и средневековой науки, в том числе физики и математики, нашедшая отражение в многочисленных публикациях (о математических занятиях Протагора и Демокрита, о приближенных вычислениях в Древней Греции, о теории бесконечно малых у древних атомистов и др.). Но это не могло быть настоящим выходом из положения, и в 1950 г. Лурье в поисках работы по специальности пришлось оставить Ленинград. Он устроился на работу в Одессу, в местный Институт иностранных языков (1950-1952 гг.), а затем во Львов, где, наконец, вновь получил работу по своей основной специальности. С 1953 г. и до самой смерти (30 октября 1964 г.) он состоял профессором кафедры классической филологии Львовского университета, который стал для него, таким образом, новым, после Ленинградского, ученым пристанищем.

Заканчивая это краткое обозрение биографии С.Я.Лурье, заметим: его жизнь не была богата внешними событиями, как это, впрочем, и обычно у ученых-гуманитаров, однако два знаменательных события в ней все-таки надо выделить. Одно, яркое и радостное по его собственным признаниям, - время Февральской революции 1917 г., окрылившее многих представителей российской интеллигенции, вселившее в них надежды на возможность обретения по-настоящему европейских, цивилизованных условий жизни и деятельности на основах свободы и демократии. Можно представить себе, сколь горьким было для демократически настроенной российской интеллигенции отрезвляющее воздействие дальнейшего развития, с новой революцией, гражданской войной и последующим террором. Именно социалистическая революция перечеркнула все надежды на свободное творчество, столь долго вынашивавшиеся **[459]** интеллигенцией России, все возможности свободной работы мысли в области духовного, гуманитарного знания, за вычетом, может быть, некоторых, определенных системою, сфер, вроде марксистской теории исторического процесса, - единственного дозволимого интелектуального занятия более или менее высокого уровня.

Другое важное событие в жизни профессора С.Я.Лурье, событие противоположного, трагического плана, - это изгнание его из Ленинградского университета в 1949 г., за которым через год последовал вынужденный отъезд на юг в своего рода добровольную ссылку. Очевидно катастрофическое значение этой жизненной перемены, и если пожилой ученый (ему было уже около 60) не сломился и нашел в себе силы продолжить свою научную и педагогическую деятельность в новой среде, то этим он был обязан не столько эфемерной оттепели после смерти Сталина (она не вернула его в родной университет), сколько собственной на редкость здоровой натуре, своему жизнелюбию, неукротимому влечению к творчеству и природной способности работать в любых, даже, казалось бы, невыносимых условиях.

Что же представляет собой созданное С.Я.Лурье? От внешней биографии ученого обратимся теперь к обзору его научной деятельности. При этом вынесем за скобки и оставим напоследок его университетский курс греческой истории как сюжет для нас наиболее важный и требующий особого комментария.

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с научным наследием С.Я.Лурье, это, помимо внушительного объема (более 200 опубликованных работ), удивительная его целостность.43 Не то чтобы круг научных интересов Лурье был узок; отнюдь нет, свидетельствами противного могут служить специальные работы этого эллиниста, посвященные древней истории еврейского народа и специально библейским сюжетам, равно как и целый ряд переводов из литературы нового времени, отражавших его глубинный интерес к истории науки (среди авторов, чьи сочинения переводились или комментировались им, - Фрэнсис Бэкон, Бонавентура Кавальери, Леонард Эйлер, Ф.У.Т.Эпинус, О.Нейгебауэр). И все же главное внимание Лурье было сосредоточено на Древней Греции, истории и духовной культуре которой была посвящена подавляющая часть **[460]** его трудов.

При этом надо заметить, что Лурье был ученым редкой одаренности. Он был наделен способностью к равновеликому изучению как собственно политической истории, этого, так сказать, основного ствола любого прошлого, так и ее необходимых корней, ее литературной и документальной подосновы, равно как и ее духовной кроны - общественной мысли и философии. В своем лице он счастливо совмещал историка, филолога и специалиста по истории науки, в том числе и естественнонаучных знаний, включая физику и математику, что является большой редкостью среди исследователей классической древности. Он чувствовал себя и действительно был хозяином во всех областях избранного исторического сюжета - древнегреческой истории, и эта многосторонность знания, сопряженная с редкой литературной продуктивностью, дала ему возможность внести большой вклад в дело изучения древнегреческой цивилизации, этой колыбели европейской цивилизации вообще.

Даже беглого обзора научных занятий Лурье-эллиниста будет достаточно, чтобы убедиться в этом. Вот первое, с чего он начал, - политическая история классической Греции, а в ней - история Беотийского союза. Посвященное этому сюжету первое большое сочинение Лурье оказалось на редкость интересной работой, высветившей многие стороны до того остававшегося в тени древнего Беотийского союза и обосновавшей его перерастание в первое в греческой истории собственно федеративное государство. И в дальнейшем на протяжении всей своей жизни Лурье неоднократно обращался к различным темам греческой политической истории, причем его всегда интересовали острые, проблемные сюжеты: политическая борьба в Спарте и, в частности, конфликты между царями и эфорами;44 роль Солона в демократическом движении в Аттике и социальная политика Писистратидов;45 отношения афинян с их союзниками46 и внутренняя политическая борьба в Афинах в классический **[461]** период;47 смута в архаическое время в Митилене на Лесбосе48 и значение пережиточных форм социально-политической организации типа мужских союзов в Милете и Силлии (Малая Азия);49 наконец, проблемы политической и религиозной истории античных городов Северного Причерноморья.50

В связи с последним подчеркнем верность С.Я.Лурье традиционному интересу отечественных антиковедов к северопричерноморским древностям. Показательно также для личной позиции Лурье, что обращение его к одной из самых интересных и деликатных проблем северопричерноморской истории - восстанию Савмака на Боспоре - обернулось форменным скандалом. Вчитавшись в текст херсонесского декрета в честь Диофанта, где содержится свидетельство о выступлении скифов во главе с Савмаком против боспорского царя Перисада (IOSPE, I2, ( 352), Лурье решительно отверг как принятое понимание контекста, так и дополнительное высказанное С.А.Жебелевым предположение о рабском статусе Савмака, равно как и опирающуюся на это предположение, укоренившуюся в советской историографии концепцию восстания рабов на Боспоре. Официальным советским антиковедением критическая работа Лурье была воспринята как вредная ревизия и чуть ли не порушение основ марксистско-ленинской исторической науки.51

Параллельно собственно историческим развивались и филологические - литературоведческие и текстологические - штудии С.Я.Лурье. Интерес к античной литературе и, шире, античной письменности **[462]** был усвоен им, что называется, с молоком матери: в Петербургском университете, этой alma mater отечественной науки о классической древности, комплексное изучение античности в исторических фактах и письменных свидетельствах древности было условием sine qua non успешного постижения существа древней цивилизации. Кроме того, Лурье несомненно от природы обладал высоким вкусом и способностями к изучению древних языков, письменности и литературы.

Так или иначе, филологические исследования всю жизнь сопутствовали его историческим занятиям, доставляя необходимые точки опоры в источниках или иллюстрации из древней литературы при изучении и реконструкции тех или иных исторических явлений. Это нашло отражение в филологических работах различного жанра: в специальных статьях, посвященных отдельным сторонам творчества чрезвычайно импонировавшего ему своим демократизмом и грубоватым юмором Аристофана, но также и других поэтов - Архилоха, Алкея, Эсхила, Эврипида, Менандра; в большой филологической диссертации, посвященной отражению в древней трагедии актуальных вопросов внутренней и внешней политики Афинского государства ("Художественная форма и вопросы современности в аттической трагедии", 1943 г.); в издании новых русских переводов Ксенофонта (Ксенофонт. Греческая история. Л., 1935) и Плутарха (Плутарх. Избранные биографии. М.-Л., 1940), специально ориентированных на использование в практических занятиях со студентами (переводы снабжены вступительными статьями и обширнейшими комментариями с массою параллельных свидетельств);52 наконец, в многочисленных исследованиях, посвященных реконструкции текста и интерпретации содержания древних надписей, в особенности беотийских и аттических.

Среди эпиграфических исследований выделяются по своему интересу и значению этюды, посвященные двум афинским надписям, содержащим установления относительно военно-земледельческих колоний (клерухий) на Лемносе (IG, II2, № 30) и Саламине (IG, I2, № 1),53 и еще одной локридской надписи с текстом постановления **[463]** о разделе земли между гражданами и приеме эпойков в одной из общин Западной Локриды (надпись была опубликована Пападакисом в ***Ajrcaiologikh; Ejfhmeriv"***, 1924, p.119-141; новое издание - ML, № 13).54 Большое научное значение имеют также объемные исследования аттических надписей на предмет уточнения их формулы (их прескриптов) и датировки, а также в связи с более общей проблемой возникновения и развития новой алфавитной письменности у греков.55

В пожилом уже возрасте, после 2-й мировой войны, С.Я.Лурье обратился к изучению нового и чрезвычайно специфического эпиграфического материала - древнейших (от II тыс. до н.э.) надписей Крита и Микенской Греции. Исполненные своеобразным линейным письмом эти надписи, как известно, распределяются по двум сериям - линейного письма А и линейного письма Б. Первая серия, датируемая ХVII-ХV вв., происходит, по-видимому, от древнейшего догреческого населения Крита (так называемых этеокритян), вторая, датируемая ХV-ХIII вв. до н.э., - от микенских греков. Лурье одним из первых по достоинству оценил значение этих древнейших документов и принял деятельное участие в работе по их дешифровке. Он с восторгом приветствовал успех английского филолога М.Вентриса в разгадке линейного письма Б (более ранняя система линейного письма А до сих пор не поддается убедительной дешифровке) и, читая надписи Микенской Греции по методу Вентриса, первым дал обстоятельное исследование проблемы в целом - и языка микенских греков, и их цивилизации (в монографии "Язык и культура Микенской Греции", М.-Л., 1957).

При этом С.Я.Лурье были высказаны очень важные и достаточно обоснованные суждения о микенской цивилизации, позволяющие видеть в ней хотя и весьма отдаленную, но все же предшественницу классической античной цивилизации, - о присутствии в микенском обществе общинного начала (тема дамоса) и характерной невыразительности фиксируемого, впрочем, в документах начала монархического; о наличии у греков уже в то отдаленное время частного владения рабами и землей; наконец, о формировании **[464]** у них уже к исходу II тыс. до н.э. по крайней мере главных элементов олимпийской религии и мифологии, этой основы основ их духовной культуры. Можно без преувеличения сказать, что сделанное Лурье составило важное основание для развития советской и в известной степени мировой микенологии, а набросанная им картина греческого общества в микенские времена до сих пор остается наиболее полным и убедительным вариантом исторической интерпретации, признающей своеобразие микенской цивилизации и ее сложное, неоднозначное отношение как к последующей, собственно античной цивилизации греков, так и к цивилизациям Переднего Востока, с которыми обычно ее и сближают.

Но послушаем самого историка, который, суммируя значение нового документального материала для истории, одновременно дает выразительную характеристику общества микенских греков. "Только вновь найденные надписи, - пишет Лурье, - убедили нас окончательно в том, что описываемые Гомером греческие общества микенской эпохи были не примитивными родовыми общинами, "военными демократиями", а централизованными государствами с большим бюрократическим аппаратом, частной собственностью на землю и развитым рабовладением. С другой стороны, мы увидели, что эти государства не были деспотиями восточного типа: наряду с vanaka (по-видимому, "божественным царем") стоит не только "воевода", но и народ (zamo, damos), распоряжающийся большими пространствами земли и даже имеющий своих рабов. Это были государства, в которых особым почетом и значением, наряду с представителями культа, пользовались ремесленники (в противоположность обществу, изображаемому Гомером) и т.д."56

Проведенного обзора, мы думаем, вполне достаточно, чтобы показать объемность и яркость вклада С.Я.Лурье в разработку древнегреческой истории. Подчеркнем, однако, еще одну примечательную особенность исторических трудов Лурье - силу их воздействия на читателей. Действительно, они никого не оставляли равнодушным, даже если и не вызывали совершенного согласия. Причиной тому были не только глубокая эрудиция и тонкость мысли ученого, но и сильнейший эмоциональный заряд, реакция на древнюю историю как на нечто не просто интересное, но по существу и близкое, задевающее за нутро ощутимым созвучием с современностью. Ярчайшим примером такой реакции надо считать написанную Лурье **[465]** еще в молодые годы книжку "Антисемитизм в древнем мире" (Пг., 1922), которая, естественно, вызвала живой отклик в русской прессе, почти немедленно была переведена и издана в Германии, а позднее также и в Израиле.

Разумеется, такая позиция возможна лишь для страстной натуры, каким и был Лурье. Как отмечено его биографами, "античность никогда не была для Соломона Яковлевича далеким прошлым, куда он мог бы уйти от повседневной действительности. Произведения древнегреческих писателей воспринимались им как живая литература. Он никак не мог примириться с распространенным среди литературоведов представлением об "особом мышлении" людей древнего мира".57 Более того, продолжают те же авторы, "в Афинах V-IV вв. у Соломона Яковлевича были свои друзья и враги. Противников политической свободы в Древней Греции он ненавидел столь же страстно, как и душителей демократии ХХ века..."58

Будучи сам убежденным демократом, С.Я.Лурье всегда симпатизировал афинской демократии и был готов защищать ее от любых нападок. Совершенно иным было его отношение к олигархической Спарте: он с неприязнью отзывался о казарменной муштре спартиатов и полицейском строе жизни в Спартанском государстве и написал специальную статью против тенденций идеализировать спартанские порядки и спартанскую доблесть, чем особенно увлекалась в 30-е годы немецкая нацистская историография.59 Среди древних писателей его любимцами были близкие народу и демократии Архилох, Эврипид и, конечно же, Аристофан. А среди ученых его особенно привлекали своим демократизмом и открытостью ко всему интересному, хотя бы и чужеземному, отец истории Геродот, а в новое время - Генрих Шлиман и Майкл Вентрис. С последним он подружился (разумеется, только заочно, по переписке), восхищался его ярким дарованием и приветливым характером и горестно переживал его раннюю трагическую гибель.

Наряду с собственно историческими (или историко-филологическими) штудиями другим важным направлением исследовательской работы С.Я.Лурье было изучение духовной культуры древних греков - их общественной мысли, философии и науки. И здесь **[466]** у него были свои любимые темы и герои. В греческой философии его более всего интересовало формирование материалистической доктрины в связи с развитием естественно-научных знаний. С разных сторон подходил он к этой теме и разные персонажи привлекали его внимание: выразитель радикальных социологических взглядов, решительный критик установившихся порядков, в том числе и института рабства, софист Антифонт, которого он, как и некоторые другие новейшие ученые, отличал от одноименного реакционного оратора; другой софист, обосновывавший целесообразность и закономерность демократических порядков Протагор; наиболее результативный из ранних натурфилософов, творец оригинальной диалектико-материалистической системы Гераклит. Но более всего привлекало его творчество великого материалиста древности Демокрита. Не с сократиками Платоном и Аристотелем, как это обычно делают, а с Демокритом, разработавшим концепцию атомного строения материи, связывал Лурье кульминацию научно-философской мысли в Античной Греции. Творчеству Демокрита он посвятил целую серию работ, в том числе и книгу, вышедшую в серии "Жизнь замечательных людей" (Демокрит. М., 1937).

Глубоко сожалея об утрате сочинений любимого философа, ученый потратил много труда на розыски их фрагментов - цитат, переложений или хотя бы реплик в позднейшей античной и раннехристианской литературе. В результате составилось новое большое собрание фрагментов Демокрита, намного превышающее другие аналогичные собрания (в частности, в известной хрестоматии Г.Дильса и В.Кранца), но сам составитель не успел его опубликовать. Дело, однако, было доведено до конца стараниями учеников и друзей С.Я.Лурье, и в 1970 г. вышел в свет самый обширный из его трудов "Демокрит: тексты, перевод, исследования", издание - подчеркнем это - включающее не только переводы, но и оригинальные тексты на древних языках, а потому, в силу своей научной и полиграфической полноты, представляющее редкое явление в советской литературе об античности.

С изучением научной подосновы материалистической доктрины древних были связаны также и специальные исследования С.Я.Лурье по вопросам античной математики, в том числе такие значительные работы, как "Приближенные вычисления в Древней Греции" (опубликовано в "Архиве истории науки и техники", серия I, вып.4 за 1934 г.) и "Теория бесконечно малых у древних **[467]** атомистов" (отдельное издание, М., 1935). Ряд статей и целую монографию посвятил он специально такому корифею античной механики и математики, каким был Архимед (монография: Архимед. М., 1945).

Еще одну и совершенно иную плоскость интересов С.Я.Лурье в области изучения античной науки, именно интерес к развитию гуманитарного знания, отражала его монография, посвященная отцу истории, - "Геродот" (М., 1947). В изображении Лурье Геродот выступает как крупный исторический писатель, первый автор универсальной истории, прелестный в своей простой и наивной любознательности. Он - человек своего времени и своего народа, малоазийский грек, чуждый общеэллинского патриотизма, которого тогда еще и не могло быть, а тем более шовинизма, но готовый в угоду Афинам, где он сблизился с кружком Перикла, подчеркнуть их роль в войнах с персами. Этой темы мы еще коснемся ниже, в связи с анализом университетского курса "История Греции". Теперь же упомянем о двух обобщающих сочинениях Лурье по проблемам духовной жизни древних греков. Это - "История античной общественной мысли" (М., 1929) и "Очерки по истории античной науки" (М., 1947). В первой из этих книг были прослежены политические идеи и программы различных общественных группировок, обрамлявшие течение греческой истории в архаическое и классическое время (в том числе - аграрный социализм Писистрата, рационализм ионийской натурфилософии, программа гражданского мира в ранней классике и проч.), во второй центральной частью является изложение материалистического учения Демокрита.

"История античной общественной мысли" замечательна еще и тем, что в ней с наибольшей полнотой и резкостью выражено убеждение автора в безусловной подчиненности личной воли и разума людей, в том числе и так называемых сильных личностей, объективным историческим законам. "Мы a priori, - заявляет автор, - отказываемся видеть в отдельных "исторических" личностях и их произвольных действиях самостоятельные факторы исторического развития. С нашей точки зрения, самые эти действия насквозь подчинены закону причинности и поэтому могут рассматриваться не как причина того или иного хода исторического развития, а только как частный случай для иллюстрации того или иного социального закона".60

**[468]** Свой тезис автор обосновывает, сопоставляя человеческое общество с миром животных. Он именно отказывается видеть сколько-нибудь принципиальное различие между этими мирами. "Поэтому, - продолжает он, - при объяснении эволюции человеческих обществ мы вправе применять те же научные методы, какие положены в основу объяснения эволюции в животном мире. И здесь, как и там, мы вправе пренебречь, как бесконечно малыми величинами, разумом и свободной волей, так как исторические законы, как и законы биологии, суть законы статические, - различно направленные "свободные воли" взаимно парализуют друг друга и в результате могут быть приняты за нуль. Поэтому мы вправе и здесь, как в биологии, при объяснении процессов социальной жизни исходить из необходимости приспособления к новым экономическим условиям, из потребностей борьбы за существование и продолжение вида".61

Мы не можем согласиться с этим обоснованием стопроцентного объективного детерминизма в истории, - не можем, потому что согласиться с этим означало бы лишить людей всякой надежды на целесообразность и плодотворность собственных усилий, т.е. признать, что человеческая жизнь лишена какого бы то ни было смысла. К счастью для человечества это не так, и исторический опыт все время демонстрирует нам исключительное значение исполненных осознанной воли людских поступков. Отвергая детерминистический пафос С.Я.Лурье как необоснованную и неоправданную крайность, мы, однако, должны признать глубину и тонкость многих суждений, развитых в его сочинении, и в частности важность одного из центральных положений работы - о вечном противоречии существующих на данный момент и находящихся в развитии экономических условий, с одной стороны, и окаменевшего психологического уклада, обусловленного экономическими отношениями прежней, отжившей эпохи, с другой. Интересна также и попытка автора разработать и последовательно применить к греческому материалу собственный метод системной реконструкции социального мышления в прошлые эпохи по отдельным социально-психологическим рудиментам, - метод, который он называет, по примеру С.Рейнака, социальной палеонтологией.

Суммируя общие впечатления от деятельности С.Я.Лурье как ученого, подчеркнем прежде всего богатство и оригинальность того, что он успел сделать в науке несмотря на весьма неблагоприятные **[346970]** внешние условия. В его трудах с полнотой раскрылись особенности его научного дарования: эрудиция и вкус к аналитической работе с источниками в традициях Петербургской историко-филологической школы; одновременно - тяготение к острой идейной интерпретации прошлого, с естественной, в таком случае, тенденцией к модернизации древней истории; наконец, наличие собственной оригинальной философии истории, представлявшей причудливое сплетение дарвиновского эволюционизма, идей антропологической щколы и марксистской социологии.

Проявления этих черт особенно ярко прослеживаются в разработанном С.Я.Лурье университетском курсе греческой истории, к характеристике которого мы сейчас перейдем. Однако прежде, чтобы совершенно уже покончить с общим обзором, укажем на еще одну сторону многогранного дарования Лурье - на обращенность его ученой деятельности к людям. К эрудиции, интенсивности и оригинальности научного творчества у него естественно добавлялись способности эмоционального восприятия и воспроизведения исторического материала, что, при общей живости характера и любви к общению с молодежью, делали из него отличного университетского наставника, учителя науки в самом полном и высоком смысле слова.

Желание поделиться своими знаниями и увлечь других на поиск новых истин великолепно проявилось в его популярных, специально обращенных к молодой аудитории книжках. Сюжеты для них брались из истории греческой культуры. Это - увлекательно составленные рассказы о папирусах и школьном образовании в древности (Письмо греческого мальчика. М., 1932), об открытии тайны микенского письма (Заговорившие таблички. М., 1960), о яростном и неукротимом зачинателе новой, лирической поэзии Архилохе (Неугомонный. М., 1962), о великом материалисте древности Демокрите (Путешествие Демокрита. М., 1964).62

Те же качества - подлинное знание и оригинальная интерпретация древней истории, интерес к аудитории и стремление поделиться с нею результатами своих изысканий - обеспечили успех Лурье-профессора в университете. Особенно удачными были его практические занятия с кругом заинтересованных студентов, тех, кто сознательно избирал своей специальностью изучение древней истории. Семинары, ставившие целью сблизить студентов с древними **[470]** материалами, научить их работе с источниками и нешаблонному их восприятию, равно как и элементарные занятия древними языками или эпиграфикой, которые он вел с особым увлечением и тщательностью (для занятий эпиграфикой он, например, собственноручно переписывал необходимые тексты), были исключительно результативны, возбуждали большой, стойкий интерес и сплачивали вокруг учителя круг преданных учеников.

Менее удачны были выступления С.Я.Лурье в качестве лектора, читавшего общий курс античной истории: небольшого роста, стеснительный, с не очень отчетливой дикцией, он не мог тягаться с такими мастерами публичного слова, как, допустим, его коллеги С.И.Ковалев и Д.П.Каллистов. Он, по-видимому, и сам понимал это и несколько тяготился этой частью своих обязанностей, - но только в плане непосредственного ораторского исполнения, отнюдь не подготовкою лекционного курса как такового. Насколько увлекало его дело разработки общего университетского курса, как умело он мог воспользоваться возможностью в легкой, даже несколько неотшлифованной форме представить общий ход греческой истории и высказать любимые, выношенные годами идеи - опять-таки свободно, без необходимых и нередко утомляющих внимание аудитории ученых аксессуаров (ссылок, примечаний и т.п.), - обо всем этом мы можем судить по подготовленной Лурье и частично им опубликованной "Истории Греции".

Это - наиболее обширный из известных нам университетских курсов древнегреческой истории: по своему объему он гораздо больше, чем популярный в 30-х годах очерк греческой истории, составленный С.И.Ковалевым,63 или более новые и считающиеся вполне солидными пособия послевоенных лет.64 Правда, в отличие от этих последних курс С.Я.Лурье не включает эпохи эллинизма (изложение доведено до Коринфского конгресса 338/7 г. до н.э., легализовавшего македонскую гегемонию в Элладе), но это сделано сознательно и не может считаться неким просчетом или недостатком. Дело в том, что традиционное членение античной истории на две части - Грецию и Рим - не является безусловным. Эпоха эллинизма, наряду с собственно греческой и римской историей, может **[471]** быть предметом вполне самостоятельного рассмотрения, что, кстати, и делалось обычно и продолжает делаться в Ленинградском/Петербургском университете. Курс греческой истории читается здесь достаточно подробно только до Адександра Великого, эллинистическому периоду посвящаются одна-две обзорные лекции, а обстоятельно он излагается в специальном курсе, читаемом, правда, лишь студентам, специализирующимся по античной истории.

Так или иначе, курс С.Я.Лурье являет собой обширное и целостное изложение истории Древней Греции в пору ее независимого существования - от самых начал (крито-микенская эпоха) до потери греками своей независимости во 2-й трети IV в. до н.э. Курс этот не только обширен, но и чрезвычайно добротен: изложение ведется обстоятельно, с непрерывною опорою на источники, которые часто прямо цитируются в тексте (что теперь практически не делается в университетских учебниках), с обсуждением различных высказанных в науке точек зрения, с полноценным охватом как собственно политической истории, так и сопутствующих явлений экономической и культурной жизни древних греков. Курс завершается подробным источниковедческим очерком - обзором античной историографии греческой истории от логографов до "малых" историков IV в. до н.э. (Кратипп, Ктесий, Эфор, Феопомп и др.).

Обстоятельности изложения сопутствует глубина, а временами, когда автор вступает в полемику с принятыми взглядами, и острота идейной интерпретации, в рамках которой С.Я.Лурье высказан целый ряд оригинальных, опирающихся на собственные научные изыскания суждений по принципиальным вопросам древнегреческой истории. Среди этих суждений, заслуживающих самого пристального внимания и, в общем, одобрения, отметим:

* решительное отвержение концепции Б.Л.Богаевского о родовом характере крито-микенского общества и обоснование высокого уровня цивилизации (включая наличие государственности) древних критян и микенских греков уже во II тыс. до н.э.;
* признание исторического регресса в последующую, так называемую гомеровскую эпоху и обусловленного этим возвращения греческого общества к патриархально-общинному укладу жизни (ХII-IХ вв.);
* трактовка архаической эпохи (VIII-VI вв.) как времени социальной революции, приведшей к освобождению греческих общин от засилья родовой знати и развитию и утверждению, по крайней мере **[472]** в передовых городских центрах, демократического строя. Признание фундаментального значения колонизации и выделение, в контексте архаической революции, законодательной реформы и тирании как двух наиболее важных форм свершавшегося в греческом обществе социально-политического переворота;
* понимание исторического значения Греко-персидских войн как важного момента в окончательном переходе древних греков на античный путь развития, с утверждением классических форм рабства, с одной стороны, и принципов полисного гражданства, с другой;
* определение главных факторов, направлявших политическую жизнь греков в классический период (V-IV вв.), признание, в этой связи, первостепенного значения как борьбы за торговые пути и, в частности, за обладание черноморскими проливами, так и стремления к некоему балансу сил, гарантировавшему независимое существование отдельных полисов;
* наконец, выявление в мире греческих государств новых политических структур, являвших собою альтернативу автономному и автаркичному полису, - федеративного государства, созданного в Беотии, и территориальной монархии эллинистического, как считал Лурье, типа, построенной Дионисием I в Западном Средиземноморье.

Большие достоинства университетского курса С.Я.Лурье очевидны. Это - не только яркий памятник исторической мысли 30-40-х годов, но и весьма полезное, сохраняющее свою ценность до сих пор пособие для всех тех, кто интересуется античностью и желает подробнее познакомиться с историей Древней Греции. Однако польза, которую современный читатель может извлечь из книги Лурье, зависит не только от внимательного прочтения и усвоения представленного в ней исторического материала, но и от правильного понимания присущих и ей тоже, как и любому другому историческому труду, недостатков.

Одним из таких недостатков, бесспорно, является некоторая небрежность изложения, проявляющаяся в нередких фактических погрешностях (в новом издании исправленных, поскольку они были замечены), а еще больше - в стилистической неотделанности текста. Тем не менее, подготавливая книгу к новой публикации, мы не сочли себя вправе проводить радикальную косметическую отделку (во всяком случае в больших масштабах), поскольку, во-первых, **[473]** это неизбежно привело бы к стилистической ломке и разнобою, а во-вторых, потому, что в самой внешней неотделанности изложения Лурье есть свой настрой и своя логика, выдающие установку на более доходчивый, как это понимал автор, рассказ о прошлом. Таковы, в частности, неоднократные повторы слов и даже целых фраз, что режет глаз современному придирчивому стилисту, но без чего, вообше говоря, не обходится ни одно изложение, сопряженное с объяснением или поучением, будет ли то исторический рассказ (можно напомнить, кстати, о манере Геродота) или учебная лекция (ср. стиль Аристотеля).

Другая и более серьезная проблема - это неубедительность или даже неверность некоторых идей, высказанных С.Я.Лурье отчасти в пылу полемики, в качестве нарочито заостренных возражений против принятых мнений, отчасти же - под влиянием модных научных или распространенных политических представлений (в том числе, разумеется, и марксистских), от воздействия которых не может быть застрахован ни один даже самый крупный ученый. Мы уверены, однако, что сделанных нами замечаний будет достаточно, чтобы предостеречь тех, кто будет теперь знакомиться с книгой Лурье, от некритического восприятия взглядов, не защитимых, как нам представляется, с позиций современной науки.

Для удобства обозрения мы разделим положения, нуждающиеся в критическом комментарии, на три категории: общего теоретического плана, более конкретного, исторического, и частного. Среди неверных, на наш взгляд, тезисов ***общего плана*** должны быть названы следующие (разделявшиеся, впрочем, в советской литературе не одним только Лурье):

* представление о восточной, греческой и римской формах рабства как этапах развития рабовладения, а именно - от более примитивного, патриархального, к более высокому (см. начало введения). Между тем естественнее и правильнее было бы видеть в них различные конкретно-исторические варианты одного и того же социологического явления;
* концепция единого рабовладельческого класса, объединявшего в античности и знать и народ (гл.ХIV, § 4), тогда как, по современным представлениям, структура античного гражданского общества была более сложной: в ней надо различать по крайней мере два класса - состоятельных людей, представлявших собственно рабовладельческую верхушку, и массу прочих свободных граждан, **[473]** крестьян и ремесленников, непосредственно занятых трудовой деятельностью и объединенных понятием "демос" (простой народ);
* убеждение в преимущественно натуральном характере античной экономики (гл.ХIII, § 3), укоренившееся в советской литературе отчасти под влиянием теорий И.К.Родбертуса и К.Бюхера, отчасти же - с оглядкою на некоторые близкие им высказывания К.Маркса в прямом противоречии с действительным, достаточно широким развитием товарно-денежных отношений в классической древности (в Греции во всяком случае со времен Гесиода);
* аналогичного рода (т.е. продиктованное установкой, примитивизирующей античность) убеждение в неразвитости политической жизни в греческих городах и отказ, ввиду этого, признать за политическими объединениями демократов или олигархов в Афинах качества политических партий (гл.VII, § 3);
* тенденциозное апологетическое отношение к античной демократии, доходящее до оправдания не только просчетов, но и преступлений Афинского государства, таких, например, как расправа с жителями Мелоса (гл.Х, § 2) или казнь философа Сократа (гл.Х, § 8);
* столь же избирательное, тенденциозное отношение к течениям в античной общественной мысли и философии, восторженное отношение к материалистическому учению Демокрита и признание его кульминационным пунктом в развитии античной философии и науки (гл.IХ, § 9) и, наоборот, резкое неприятие и умаление значения Сократа и его школы, трактуемых как носителей реакционного идеалистического начала (гл.Х, § 8; гл.ХI, § 11; гл.ХII, § 2; гл.ХV, § 4).

Думается, что и отказ древним македонянам в праве быть греками продиктован не столько собственно историческими или лингвистическими соображениями (они во всяком случае не бесспорны), сколько желанием подчеркнуть радикальную чуждость греческому миру - и в первую очередь афинской демократии - тех, кто лишил этот мир его свободы (см. гл.ХII, § 3).

Среди ***более конкретных*** исторических суждений незащитима, прежде всего, предполагаемая связь распространения железа в Балканской Греции с переселением дорийцев (гл.I, § 5). Новейшие исследования показали, что широкое распространение железа в Греции должно быть отнесено на одно-два столетия позже дорийского завоевания. Марксистским шаблоном продиктована характеристика **[475]** гомеровского, по существу, невзирая на известную реанимацию родовой общины, аристократического общества как "военной демократии", равно как и категорическое отрицание существования в гомеровское время каких-либо денежных единиц (гл.I, § 6). Отсюда же (т.е. от односторонней оценки послемикенского времени как периода сугубо регрессивного) характеристика геометрического стиля как явления примитивного и убогого (там же), между тем как современные исследователи (например, Ч.Старр) справедливо усматривают в этой геометрике первые проблески нового рационалистического духа. Благими намерениями, но именно в духе советской исторической социологии, продиктована, далее, модернизаторская и по существу неверная трактовка старшей тирании, в частности и режима Писистрата в Афинах, как демократической диктатуры (гл.II, § 4; гл.III, § 3), тогда как на деле это была разновидность древнего бонапартизма.

То же надо сказать об отрицании национал-шовинистического ("расового") момента в противоположении эллинства и варварства в греческой литературе до середины V в. (гл.II, § 5), между тем как привкус этого чувствуется уже у Гомера и отчетливо прослеживается у писателей архаики (Архилох) и ранней классики (Гераклит). Столь же искусственным выглядит и отрицание принципиального национального и политического противостояния греков персидской агрессии (по Лурье, это - фикция, разработанная Геродотом в угоду афинской демократии, см. гл.V, § 5). Показательны, наконец, защита старшей софистики ввиду ее философского и политического радикализма (по Лурье, выливавшегося в "революционные материалистические идеи", а на деле приводившего к крайнему релятивизму и нигилизму) и снятие с софистов рано и не без основания предъявленных им обвинений в беспринципности и шарлатанстве (см. гл.Х, § 9).

Отметим также ряд случаев, когда в курсе Лурье подхвачены и развиты модные в свое время, но весьма спорные идеи:

* о возникновении форм рабства типа илотии не столько вследствие покорения завоевателями местного населения, сколько поначалу спонтанным путем, за счет разорения и закабаления соплеменников (гл.IV, § 1-3, точка зрения Эд.Мейера);
* о становлении Спартанского государства в его классическом, "законсервированном" виде не в раннеархаическое время, в результате реформ, связанных с именем Ликурга, а лишь в VI столетии, **[476]** после Мессенских войн, ради подавления ставшего уже многочисленным класса илотов (гл.IV, § 3, развитие концепции переворота VI в., разработанной Г.Дикинсом, Г.Т.Уэйд-Джери и В.Эренбергом);
* о деятелях конца V в. Алкивиаде, Лисандре и Кире Младшем, бывших и в самом деле политиками нетрадиционного плана, как о подлинных предтечах эллинизма (гл.Х, § 1 и 4; гл.ХI, § 1).

Кроме того, в книге Лурье есть много неточных или незащитимых утверждений по отдельным ***частным поводам***. Такова парадоксальная трактовка завершившего Греко-персидские войны Каллиева мира (447 г.) как успеха скорее персов, чем афинян, а фиксировавшего передышку в борьбе Афин со Спартой Тридцатилетнего мира (445 г.) - как крупной дипломатической победы афинян, а не их вынужденной уступки (гл.VII, § 6). Столь же парадоксальным выглядит признание самостоятельного характера Архидамовой и Декелейской войн (соответственно 431-421 и 415-404 гг.) и отвержение Фукидидовой концепции единой, целостной Пелопоннесской войны (гл.IХ, § 1). Едва ли убедительно отнесение восстания рабов в Сиракузах, о котором рассказывает Полиэн (I, 43, 1), ко времени первого, морского вторжения афинян в Сицилию (427-424 гг., см. гл.IХ, § 5), а не к годам непосредственной осады ими города Сиракуз (415-413 гг.), как это обычно принимается специалистами (Ад.Гольмом, Эд.Фрименом и др.).

Необоснованным представляется нам и "смешливое" переложение Лурье депеши, которая, по сообщению Ксенофонта (Греческая история, I, 1, 23), была послана бедствующими спартанскими воинами на родину после неудачного для них сражения при Кизике в 410 г. (гл.Х, § 3). Фразеология предлагаемого перевода - "Деревяшки (это о боевых кораблях!) погибли, Миндар приказал долго жить (это о погибшем главнокомандующем!) и т.д." - представляется совершенно неуместной в официальном обращении подчиненных к своему правительству, да и лексика оригинала (т.е. текста Ксенофонта), как кажется, не дает повода к осуществленному Лурье перетолкованию.

Указанные недостатки не должны, однако, затемнять главного положительного качества книги С.Я.Лурье - ее большой добротности, позволяющей ей и поныне оставаться ценным университетским пособием. Более того, если можно так сказать, своя сила заключена даже в слабостях (разумеется, относительных) этого труда: **[477]** шероховатость стиля, нарочитая заостренность или видимая неубедительность отдельных положений, даже раздражающая иных манера ссылаться от первого лица на собственные работы и достижения - могут возбудить внимание, вызвать желание поспорить и самостоятельно поразмышлять гораздо больше, чем некоторые хорошо отглаженные и выверенные в словах и мыслях произведения, вызывающие мертвую скуку от одного лишь соприкосновения с ними.

В заключение - еще несколько разъяснений о составе университетского курса С.Я.Лурье в том виде, как он был опубликован в 1993 г. В целом это - труд, изготовленный, что называется, собственноручно самим Лурье, за одним или двумя исключениями: глава ХI ("Кризис IV в.") была просмотрена и частично переработана учеником Лурье К.П.Лампсаковым, а глава ХII ("Конец свободной Греции") была написана другим его учеником В.Г.Боруховичем. Все это было оговорено в помещенной перед второй частью заметке "Вместо предисловия". При подготовке нового, полного издания было признано целесообразным снять как эту заметку, так и главу "Греческие колонии северного побережья Черного моря", составленную также учеником Лурье Б.И.Наделем. Сделано это было отчасти по соображениям экономии, а еще больше ввиду совершенной устарелости очерка, посвященного столь интенсивно разрабатываемому в нашей стране сюжету, как Античное Причерноморье. Зато были добавлены "Хронологическая таблица", "Библиография" и "Указатель имен", позволяющие лучше ориентироваться как в событиях и персонажах древнегреческой истории, так и в посвященной ей специальной литературе.

3. Аристид Иванович Доватур (1897-1982 гг.)

Мое знакомство с А.И.Доватуром, которому суждено было стать одним из главных моих университетских наставников, произошло неожиданным и, можно сказать, странным образом. Случилось это, когда я был на третьем курсе исторического факультета нашего Санкт-Петербургского (тогда - Ленинградского) университета, т.е. в конце 1952 или в начале 1953 г. (не помню точно). Я уже третий год специализировался по античной истории, успел овладеть начатками греческого и латинского языков и основательно углубился в изучение афинской архаики, когда мой научный руководитель **[478]** профессор К.М.Колобова предложила мне разобраться в академическом архиве известного русского эпиграфиста А.В.Никитского, к личности и творчеству которого она в ту пору проявляла особый интерес.

По рекомендации К.М.Колобовой я был допущен в Архив Академии наук и приступил к изучению бумаг Никитского. Мне было интересно познакомиться с его выпускным сочинением о Митридате Евпаторе, с письмами к нему его учителя профессора Ф.Ф.Соколова, но его заметки по греческой эпиграфике оказались для меня не слишком понятными, а потому и скучными. Тем не менее я усердно корпел над этими старыми рукописями, и вот тут-то и напал на меня А.И.Доватур: маленький, средних лет, с абсолютно лысой головой, весьма подвижный человечек вдруг подбежал к моему столу и стремительно поинтересовался, чем это я занимаюсь. На мой довольно высокомерный ответ, что я занят изучением архива академика А.В.Никитского, человечек тут же отреагировал новым коварным вопросом: а знаю ли я древние языки? А когда я без колебаний ответил утвердительно, немедленно проэкзаменовал меня, попросив назвать все основные формы от греческого глагола phero и латинского tango. Со вторым я справился, а для первого не смог привести форму будущего времени oisomai.

Навязчивый незнакомец фыркнул и убежал, оставив меня с досадным чувством уязвленного самолюбия. Но в следующий раз он снова подошел ко мне, мы вступили в разговор, и скоро я был увлечен новым знакомством, вдвойне для меня интересным, поскольку, при всей своей неопытности, я скоро распознал в этом пожилом человеке высокого профессионала-филолога, между тем как сам он упорно отказывался назвать свое имя, прикрываясь каким-то нарочно придуманным псевдонимом (чем-то вроде "Ротштейн" или "Розенштейн"). Я не знал тогда, что этот человек ранее был репрессирован, не имел права проживать в Ленинграде (он жил тогда в Луге и лишь наездами бывал в "городе") и пуще всего боялся скомпрометировать своего нового молодого друга.

Так началось мое знакомство с одним из самых замечательных людей нашего времени, с человеком, чья личная судьба может служить ярчайшей иллюстрацией судьбы всей русской интеллигенции в нынешнее роковое для России столетие. Позволю себе поэтому подробнее остановиться на биографии этого удивительного **[479]** человека.65

Аристид Иванович Доватур родился 5 ноября 1897 г. в небольшом бессарабском городке Рени, в семье кадрового офицера старой русской армии. Отец происходил из старинного (но не слишком знатного) дворянского рода, восходившего к какому-то французскому предку (русское фамильное имя "Доватур" родилось из французского de Vautour), переселившемуся в годы Великой революции в Россию. Мать, сколько я помню со слов Доватура, происходила из смешанной греко-румынской семьи, которая восходила к какой-то ветви знатного византийского, а позднее валашского рода Кантакузинов. Семья по существу была русской, но многонациональные корни давали о себе знать: в доме Доватуров слышалась вперемежку русская, французская, румынская и новогреческая речь, что несомненно сказалось на языковой культуре будущего филолога-классика. Он, что называется, играючи стал полиглотом: в раннем детстве овладел всеми только что названными языками, чуть позже освоил польский, немецкий и английский, а еще позднее - итальянский, испанский и португальский, не говоря уже о древних языках, греческом и латинском, без которых немыслимо было образование в старой России.

С переводом отца по службе в Варшаву для юного Аристида начался новый, польский период жизни. В Варшаве, обучаясь в 1-й Русской гимназии, он получил хорошую классическую подготовку и тогда же почувствовал сильное влечение к историко-филологическим занятиям. Он сам мне рассказывал, как рано пробудился в нем интерес к всеобщей истории, особенно к истории Франции, и сколь многим он был обязан в развитии этого интереса чтению исторических книг, в частности увлекательно написанной "Истории Франции" Виктора Дюрюи (известного также и своими многотомными трудами по истории древней Греции и Рима).

С началом Первой мировой войны отец А.И.Доватура был призван в действующую армию, а он сам с матерью переехал в Саратов. Здесь он продолжил свое образование на историко-филологическом факультете университета, где его наставниками в древних языках **[480]** и литературе были такие выдающиеся филологи-классики, как С.И.Протасова и С.В.Меликова-Толстая, а также В.Я.Каплинский, под руководством которого он приобщился к чтению "Политики" Аристотеля, которая позднее станет для него одним из главных предметов научного изыскания. В Саратовском университете А.И.Доватур уже сложился как специалист-антиковед; его выпускное сочинение, посвященное элегиям Солона, было удостоено золотой медали, а сам он был откомандирован в Петроград "в качестве оставленного при университете для продолжения научных занятий" (1922 г.).

В течение трех лет (1922-1925 гг.) Доватур состоял в аспирантуре при Петроградском университете. Его подготовка в области изучения классических древностей подверглась дополнительной шлифовке в семинарских занятиях у таких признанных корифеев Петербургской историко-филологической школы, как С.А.Жебелев и И.И.Толстой, которых позднее он считал главными своими наставниками и к которым навсегда сохранил самое преданное и самое почтительное отношение.

Впрочем, с окончанием аспирантуры, его занятия в семинарах этих ученых не прекратились, и он продолжал совершенствовать свои познания в древних языках, литературе и истории как под началом этих мэтров, так и в сложившемся к тому времени кружке сверстников - энтузиастов классического образования. В этот кружок входили А.Болдырев, А.Доватур, А.Егунов и А.Миханков; друзья именовали свое ученое сообщество аббревиатурой АБДЕМ и под таким именем публиковали свои коллективные переводы древних авторов - Ахилла Татия и Гелиодора (1925 и 1932 гг.).66

Между тем приходилось думать и о хлебе насущном, и, в ожидании вакансии в университете, надо было начинать зарабатывать на жизнь где-либо на стороне. В 1926 г. Доватур, окончив Высшие курсы библиотековедения при Государственной Публичной библиотеке, начал работать в этом старейшем русском книгохранилище сначала простым библиотекарем, а затем научным сотрудником и библиографом. Позднее, в 1933-1934 гг., он работал библиографом также и в Библиотеке Академии наук. Тем временем открылась **[481]** долгожданная вакансия в Ленинградском университете: в 1932 г. здесь была создана (или, может быть, лучше сказать - воссоздана) кафедра классической филологии, и Доватур оказался в числе первых ее сотрудников.

Теперь его жизнь казалась прочно устроенной. Молодой филолог уверенно смотрел в будущее и тем стремительнее развивалась его научная деятельность: параллельльно с занятиями переводами с греческого и латинского одна за другой стали появляться его ученые статьи, посвященные Солону, Геродоту и "Политиям" Аристотеля, которые в ту пору носили характер пробных этюдов, намечавших линии будущих более обширных исследований. Интересы ширились, и сил хватало на все, в том числе и на составление французских версий своих статей, которые стали выходить в почтенном европейском журнале "Revue des Etudes Grecques". Там же в 1936 г. был опубликован и подготовленный Доватуром французский перевод знаменитой работы его учителя, академика С.А.Жебелева, "Последний Перисад и скифское восстание на Боспоре".

И вот в этот разгар жизненных и научных успехов разразилась катастрофа. Поднялась новая волна советского террора, которая со страшной силой обрушилась на русскую интеллигенцию, и эта волна, особенно высокая и яростная в интеллектуальном центре России - Петербурге, увлекла за собой и Доватура. В 1935 г. он был выслан в Саратов, а уже в 1937 г., осужденный по стандартному в ту пору обвинению в контрреволюционной деятельности, начал отбывать 10-летний срок заключения в одном из концлагерей, расположенных в Горьковской области. В тот самый момент, когда в парижском журнале появилась очередная его статья, посвященная толкованию одного пассажа в "Истории" Геродота, он уже несколько месяцев работал на лесоповале, занимаясь рубкой сучьев на спиленных деревьях.

Здоровый (если не считать близорукости и плоскостопия), но не сильный от природы, Доватур неизбежно скоро бы и окончил свои дни на лесоповале, если бы его не спасли добрые люди, близкие к администрации, которые устроили ему спасительное назначение работать в лагере медицинским статистиком (основанием для этого послужило... знание Доватуром латыни!). На обязанности его было вести учет больным и умершим, - занятие страшное, но давшее ему возможность выжить. Помогли этому и духовные качества Доватура: свойственные ему общительность, оптимизм, непреклонное **[482]** желание выдержать свалившиеся на него испытания и вновь вернуться к нормальной жизни и деятельности. Немалую роль сыграло при этом и присущее ему чувство доброго юмора, позволявшее глядеть на окружавший его страшный мир без того надрывающего душу отчаяния, которое оказывается гибельным для любого узника.

Отбыв сполна 10-летний срок заключения, Доватур в 1947 г. был выпущен на волю. Впрочем, свобода была неполной: ему запрещалось жить в крупных городах, и он должен был, чтобы быть поближе к Ленинграду, где у него оставались родные и друзья (в частности его двоюродный брат, астроном А.Н.Дейч, сберегший для него его комнату и книги), поселиться в Луге. Его приютила здесь семья железнодорожника; в комнатке под крышей, где зимой у него замерзали чернила в чернильнице, Доватур и прожил несколько лет, пока не получил разрешения вновь проживать в Ленинграде.

Все эти годы ему жилось очень трудно. Друзья устроили ему несколько заказов на переводы (в том числе с латыни - для подготовлявшегося тогда "Полного собрания сочинений" М.В.Ломоносова), но деньги за эти работы, как водится, поступали нерегулярно, и по существу он жил в долг, благо находились люди, которые соглашались таким образом помочь ему. Позднее, когда он восстановился на работе в Ленинградском университете, он еще долгое время отдавал эти долги со своей зарплаты.

Между тем, еще будучи прикреплен к Луге, он стал наездами заниматься в библиотеках и Академическом архиве, стал восстанавливать прерванные нити научных занятий и первым делом обратился к приготовлению кандидатской диссертации, без защиты которой, как он понимал, невозможно было всерьез рассчитывать на возобновление ученой карьеры. При поддержке одного из прежних своих наставников, академика И.И.Толстого,он защитил эту диссертацию в 1952 г., когда ему было уже 55 лет. Он как бы начинал сначала, но запасы прежних знаний были столь велики, а новые научные разработки велись им столь энергично, что уже в 50-е годы он выходит вровень с ведущими учеными-антиковедами, а в 60-е годы и обгоняет многих из них.

Спустя три года после защиты кандидатской диссертации, в 1955 г., Доватур получил, наконец-то, долгожданную справку о полной реабилитации. Он немедленно оформил право на постоянное **[483]** проживание в Ленинграде и вернулся на работу в Ленинградский университет - доцентом на родную ему кафедру классической филологии. Дальнейшая его карьера протекала достаточно спокойно: в 1957 г. он возглавил кафедру классической филологии в Ленинградском университете, в 1964 г. защитил докторскую диссертацию, вслед за чем (правда, не без проволочек) был утвержден в звании профессора (1968 г.).

Неприятным эпизодом явилась только вынужденная смена места работы: в 1971 г. он неожиданным и обидным образом, по причине будто бы престарелого возраста, был уволен из университета. Акция эта была вдвойне несправедлива по отношению к Доватуру, поскольку он находился в расцвете творческих сил и был страстно привержен преподавательской работе. К счастью, удар для него был смягчен тем, что стараниями его друзей в Академии наук (прежде всего Д.П.Каллистова) ему было выделено место старшего научного сотрудника (профессора-консультанта) в Ленинградском отделении Института истории, в каковом качестве он и продолжал трудиться в своей области вплоть до самой смерти в 1982 г.

Впрочем, у него не было решимости расстаться совершенно со столь им любимым (хотя и неблагодарным) университетом, и он продолжал из года в год, пока хватало сил, вести на так называемых общественных началах (т.е. без вознаграждения) до 12-14 часов учебных занятий в неделю на филологическом и историческом факультетах. Еще накануне последнего инфаркта, который и свел его в могилу, он гордился тем, что на кафедре классической филологии провел 171-е заседание студенческого научного кружка, бессменным руководителем которого он был с 1956 г.

Покончив с этим, так сказать, внешним обзором биографии Доватура, остановимся несколько подробнее на его научном творчестве в этот второй период его жизни, после возвращения вновь к нормальному существованию и деятельности. Его занятия в эти годы непрерывно расширялись и постепенно в том, что касается классической древности, приобрели почти что всеобъемлющий характер. Правда, здесь надо сделать одну оговорку: сказанное верно применительно к основному историко-филологическому ядру классических штудий, но это не относится ни к философии, ни к археологии античности, к которым Доватур никогда не испытывал особого влечения. "Одно для меня чересчур высоко, а другое - низко", - любил он повторять при случае.

**[484]** И действительно, Доватур был верным адептом Петербургской историко-филологической школы, основоположниками которой в прошлом веке были М.С.Куторга и Ф.Ф.Соколов, а блестящими представителями в нынешнее столетие - его собственные наставники С.А.Жебелев и И.И.Толстой. При всем том он не был механическим продолжателем дела своих учителей. Его отличала особая черта - особенное стремление проникнуть в духовный мир древних. В основе его занятий лежала добротная проработка античной литературной традиции (с уместным привлечением эпиграфических данных) ради постижения мысли древних писателей и, таким образом, приобщения к сокровенной сути античной цивилизации.

Отсюда - раннее увлечение Доватура творчеством величайших и характернейших (каждого в своем роде) представителей античной общественной мысли - поэта и мудреца Солона, историка Геродота, политического мыслителя Аристотеля. К каждому из этих писателей Доватур испытывал не только интерес, но и какую-то особенную личную симпатию, поскольку каждый импонировал его натуре какой-то своей, характерной, близкой ему самому чертой: Солон - взвешенной житейской мудростью, Геродот - ярким даром рассказчика, Аристотель - ученостью подлинного исследователя.

С Солоном Доватур, можно сказать, не расставался всю жизнь: его творчество он избрал темой своего выпускного университетского сочинения, позднее он исследовал его влияние на греческую историческую традицию, а в старости специально заинтересовался его полемикой с Мимнермом об оптимальном пределе жизни. Спеша наверстать упущенное и чувствуя в себе силы для продолжения творческой работы даже в весьма преклонные годы, он полностью разделял взгляд древнего мудреца на возможность полноценной жизни вплоть до 80-летнего предела и вместе с ним мог сказать: "В старости с каждым я днем многому снова учусь".

Другим душевным увлечением Доватура был Геродот. В молодые годы он успел опубликовать лишь две небольшие заметки по темам Геродотовой "Истории", но после "отсидки" именно Геродот в первую очередь стал объектом его научных изысканий, итогом которых явилась кандидатская диссертация, защищенная в 1952 г. и затем опубликованная под заглавием "Повествовательный и научный стиль Геродота" (Л., 1957). В этой монографии глубоко проанализированы все существенные элементы научного и писательского творчества Отца истории: прослежено широкое использование **[485]** им такого по преимуществу устного источника информации, каким была ионийская историческая новелла; выявлено обращение зачинателя исторической науки к документальным источникам и влияние этих последних на формирование самого стиля научной прозы; наконец, подвергнута систематическому исследованию ключевая лексика Геродота-историка - его социальная и политическая терминология.

Большое научное значение монографии Доватура о Геродоте очевидно. Но важно заметить и другое - значение этого труда как стимулятора и основы некоторых других его важных научных предприятий. Мы имеем в виду последующее участие Доватура в подготовке таких фундаментальных коллективных трудов, как изданные сектором древней истории ЛОИИ АН СССР "Корпус боспорских надписей" (1965 г.) и "Народы нашей страны в "Истории" Геродота (тексты, перевод, комментарий)" (1982 г.). Для обоих этих предприятий как нельзя более полезным оказалось участие Доватура - первоклассного знатока Геродотовой традиции, составляющей фундамент наших знаний об античном Причерноморье.

Что же касается непосредственного вклада Доватура в эти издания, то он был поистине внушительным. В КБН на его долю (в содружестве с Д.П.Каллистовым) пришлась обработка без малого половины всех опубликованных здесь документов (если называть точные цифры - 635 из 1316), а кроме того, весьма содержательный очерк грамматики боспорских надписей. В издании Скифского логоса Геродота им была составлена вся филологическая часть комментария и написан обширный очерк по зарубежной историографии.

Но истинной кульминацией научного творчества Доватура, бесспорно, было исследование политических трактатов Аристотеля. И здесь дело было начато двумя небольшими этюдами еще в первый ленинградский период, но по настоящему работа пошла после защиты кандидатской диссертации. Итогом явилась новая, докторская диссертация, защищенная в 1964 г., а затем опубликованная под названием "Политика и Политии Аристотеля" (М.-Л., 1965). Это - самый фундаментальный научный труд, вышедший из-под пера Доватура. Он и самый объемный, и самый концептуальный. В нем подвергнуто глубокому анализу все творчество Аристотеля как политического мыслителя, причем, в качестве главного тезиса, показана сокровенная ориентация Стагирита на современную политическую **[486]** реальность.

Доватур обосновал наличие в Политиях Аристотеля единого глубинного принципа, сводящегося к стремлению показать неуклонный упадок греческих полисов, достигший высокой степени выражения ко времени жизни философа. Он доказал, далее, глубокую историческую обоснованность предложенной Аристотелем в "Политике" классификации главных политических форм, равно как и реалистичность в противоположении древним мыслителем абсолютно идеальной и условно-образцовой (или средней) политий. Наконец, он предложил достаточно убедительное истолкование загадочного места в "Политике", где в связи с рассуждением о среднем государственном устройстве говорится, что "один лишь муж в противоположность тем, кто прежде осуществлял главенство, дал себя убедить ввести этот строй" (IV, 9, 12, р.1296 а 38-40). По мнению Доватура, этим "одним мужем", скорее всего, мог быть Александр Македонский, перед которым действительно стояла задача упорядочения политических дел в греческих городах (особенно в подпавших под его власть малоазийских и вновь основанных полисах), между тем как в словах "дал себя убедить" мог скрываться намек на побудительную роль в этом плане самого автора - бывшего наставника великого царя.

К этому фундаментальному труду примыкают еще две очень важные работы Доватура, связанные с Аристотелем. Первая - это рецензия на новейший труд об Аристотеле двух американских ученых Дж.Дэя и М.Чамберса. Рецензия носит исключительно важный, принципиальный характер: неверию новейших скептиков, сомневающихся в основательности суждений Аристотеля о древней истории греческих государств, русский ученый противопоставил собственное убеждение в несомненной большой исторической осведомленности автора Политий и "Политики", опиравшегося, в частности, при занятиях афинской архаикой на такого надежного современного свидетеля, каким был Солон. Другая работа - подготовка к переизданию выполненного когда-то С.А.Жебелевым (и не лишенного недостатков) перевода "Политики", работа, которой Доватур наилучшим образом исполнил свой долг перед памятью учителя.

Говоря о занятиях Доватура греческими классиками, не следует забывать еще об одном писателе - младшем современнике Солона, мегарском поэте Феогниде, творчество которого также глубоко его интересовало. Интерес этот был двоякого рода: с одной **[487]** стороны, сборник стихотворений Феогнида доставлял ему богатые параллели для суждения о развитии жанра греческой элегии; с другой - чувствовался личный интерес к судьбе интеллигентного аристократа, захлестнутого революционной бурей, пережившего крушение своего сословия и разделившего вместе с другими знатными людьми все невзгоды, выпавшие на долю побежденной стороны. Написанные в разные годы, статьи о мегарском поэте были любовно собраны, откомментированы и опубликованы учениками Доватура вместе с некоторыми другими материалами в посмертно изданной книжечке "Феогнид и его время" (Л., 1989).

Наконец, в связи с греческими штудиями Доватура надо упомянуть о еще одной его работе, создание которой было продиктовано не столько прямым исследовательским или личным интересом, сколько дисциплиной - высоко понятым чувством долга, побудившим ученого-классика откликнуться на пожелание академического руководства содействовать завершению большого научного проекта - начавшей выходить с 60-х годов серии "Исследований по истории рабства в античном мире". Так появилась последняя прижизненно изданная монография Доватура "Рабство в Аттике VI-V века до н.э." (Л., 1980).

Никогда не питавший особого интереса к проблемам социально-экономической истории, Доватур, тем не менее, превосходно справился с принятым на себя обязательством. За начальную точку исследования он взял реформы Солона, положившие в Аттике конец долговой кабале и открывшие дорогу для развития античной формы рабства -рабства чужеземцев-варваров. Здесь он воспользовался материалами, которые хорошо были ему известны благодаря прежним исследованиям творчества Солона и Аристотеля. Затем, идя уже по новому для себя пути, он обстоятельно охарактеризовал все аспекты рабства в Афинах в V в. до н.э.: источники рабства, сферы применения и юридическое положение рабов, термины, обозначавшие разные категории или аспекты невольничьего состояния, наконец, особенно подробно - спорный вопрос о численности рабов. Заключалась работа разделом, где автор опять-таки стоял на твердой, привычной для него почве античной литературы, - о взглядах на рабство, высказанных древними авторами - Аристофаном, Эврипидом и Аристотелем.

Научные интересы Доватура лежали преимущественно в области греческой филологии и истории, - преимущественно, но не исключительно. **[488]** Повинуясь более широкому антиковедному импульсу, он нередко вторгался и в область римской словесности: редактировал подготовленный В.О.Горенштейном перевод писем Цицерона, переводил вместе с М.Е.Сергеенко письма Плиния Младшего, вновь редактировал чрезвычайно неаккуратный перевод "Авторов жизнеописаний Августов", выполненный С.П.Кондратьевым, а между делом публиковал заметки о "Галльских войнах" Цезаря и эпиграммах Марциала.

При разносторонности этих римских интересов надо все же подчеркнуть особенное внимание его к поздней античной традиции, к историографии императорского Рима. С этим была связана и долгая работа по редактированию кондратьевского перевода "Авторов жизнеописаний Августов", и осуществленная в рамках одного года в содружестве с группой своих учеников публикация другого перевода - труда позднего греческого историка Геродиана "История императорской власти после Марка (Аврелия)". Работа над всеми этими переводами чрезвычайно увлекала Доватура, побуждала к дополнительным самостоятельным изысканиям относительно переводимых авторов и обычно выливалась в публикацию обстоятельных статей (об эпистолярном наследии Цицерона, об истории изучения "Scriptores Historiae Augustae", об историке Геродиане и новой посвященной ему литературе).

Наш обзор научно-литературной деятельности Доватура был бы неполон, если бы мы не упомянули еще об одной сфере его занятий - о его новолатинских и иных новоязычных переводах. Он переводил с латыни статьи и заметки М.В.Ломоносова, с латыни и с немецкого - труды другого крупного физика XVIII в., коллеги Ломоносова по Петербургской Академии наук Г.В.Рихмана; перевел с латыни фундаментальный труд английского физика времени Тюдоров В.Гильберта "О магните, магнитных телах и большом магните - Земле" (М., 1956); наконец, редактировал подготовленный В.С.Люблинским перевод с французского новых текстов из эпистолярного наследия Вольтера. Побудительными причинами к исполнению этих, так сказать, побочных работ служили различные внешние обстоятельства (в случаях с Ломоносовым, Рихманом и Гильбертом - факторы чисто материального характера), но само отношение к этим работам было у Доватура по настоящему заинтересованным, ибо они отвечали глубинному его влечению к европейской культуре, в каких бы формах она ни проявлялась.

**[489]** Таковы, в главных чертах, наиболее значимые направления и свершения научного труда А.И.Доватура. В его лице мы сталкиваемся с крупным ученым, который по диапазону и масштабу своей творческой деятельности не уступает признанным корифеям современного антиковедения, включая и его собственных наставников С.А.Жебелева и И.И.Толстого. Лишь неблагоприятная личная судьба и упадок в нашей стране интереса к занятиям классической древностью помешали Доватуру занять то же общественное положение, которого удостоились названные его учителя, - стать не просто сотрудником, но полноправным, действительным членом Российской Академии наук. С этим-то замечательным человеком и свел меня случай в самом начале моего собственного пути в большую науку.

Характеризуя научное творчество Доватура, мы пользовались материалами, находящимися в общем распоряжении, именно - его собственными учеными трудами. Обращаясь теперь к характеристике другой стороны его ученой деятельности - его педагогической работы, мы в большей степени будем опираться на наши собственные наблюдения и воспоминания. Надо с самого начала подчеркнуть, что для Доватура как для подлинного гуманитара педагогическая деятельность была столь же естественной, как и научная; и если в научном плане он был преданным сотрудником Академии, то в другом своем качестве, как преподаватель, он был безусловным патриотом Университета. Он испытывал подлинное наслаждение от своих учебных занятий, от каждодневного общения со студентами, и гордился своим званием профессора.

Как преподаватель он был мастером скорее камерного жанра. Небольшого роста, с несильным от природы голосом, он не мог рассчитывать на успех в большой аудитории, при чтении общих курсов античной литературы или истории. Зато в небольшой аудитории, читая перед студентами-классиками специальные курсы, допустим, о греческой элегии, или ведя у них специальные семинарские занятия по поздней античной прозе, или читая с ними древних авторов, он был неподражаем. Занятия любого такого жанра он вел легко, естественно сочетая высокое научное содержание с доступностью изложения, непрерывно перемежая собственно научные пассажи с уместными, приходящимися к случаю анекдотами и шутками. Поводом к таким доставляющим необходимую разрядку отступлениям мог послужить любой толкуемый эпизод, а высочайшая культура **[490]** и превосходная память профессора с готовностью доставляли ему соответствующую параллель или конкретный анекдот как из античной, так и из позднейшей европейской (особенно французской) и русской истории. Правильно говорили, что учиться у Доватура было и полезно, и легко.

Параллельно с основными занятиями на филологическом факультете Доватур все годы на моей памяти (т.е. после своего возвращения в Ленинградский университет в 1955 г.) вел также отдельные занятия на историческом факультете, которые я мог близко наблюдать. Эти занятия на кафедре истории древней Греции и Рима, в группах студентов, специализировавшихся по античной истории, были, естественно, приспособлены к их интересам. Так, время от времени он читал для студентов-историков специальные курсы, например, о родоначальниках исторической прозы у греков - логографах, а в следующем году - об их естественном продолжателе Геродоте.

На старших курсах он вел специальные семинары по поздней античной историографии, по Геродиану или "Авторам жизнеописаний Августов". Он относился к этим занятиям (как, впрочем, и ко всем другим) с удивительной добросовестностью: составлял подробный план занятий (на 3-4 тетрадных страницах, исписанных характерным крупным, чуть косоватым почерком), распределял темы сообщений между участниками семинара, затем читал 2-3 вводные лекции, за которыми начиналась череда студенческих докладов с их неспешным критическим, но всегда в доброжелательном тоне разбором.

Замечательно было это глубинное доброе отношение преподавателя к тем, кто у него занимался: он не ограничивался распределением тем для докладов, но всегда давал необходимые методические советы и библиографические указания, сообщал, где можно достать то или иное издание, нередко прямо указывал шифр нужной книги в библиотеке, охотно предоставлял докладчикам в пользование собственные конспекты нужных работ, особенно если эти работы в оригинале были на иностранных языках, недоступных стулентам.

Но чаще всего и регулярнее всего он читал со студентами-античниками (начиная с третьего курса) нетрудных древних авторов, именно Ксенофонта и Цезаря, знакомство с которыми считал той обязательной первой ступенью, без которой нельзя обойтись начинающему филологу или историку-античнику. И здесь он **[491]** был на высоте как мудрый и добрый наставник, старался увлечь студентов-историков, не всегда расположенных заниматься древними языками, а если сталкивался с упорным нежеланием работать, то не раздражался, не скандалил, но, ставя, так сказать, крест на такой группе, просто укорочивал занятие на 15-20 минут, дабы не мучить ни лодырей, ни себя.

Мне самому посчастливилось пройти долгую школу у Доватура. Сначала, пока я заканчивал университетский курс, а он дожидался официальной реабилитации, без которой не мог возобновить свою педагогическую практику, его наставническое воздействие на меня реализовывалось в беседах на самые разные темы (мы тем временем стали встречаться все чаще и чаще): то он расспрашивал меня о моих занятиях на историческом факультете, исподволь прививая мне более критическое отношение к той марксистской схоластике и социологии, которой было пропитано тогда историческое образование, то давал мне прямые советы, как совершенствовать историко-филологическую подготовку. Он всячески укреплял просыпавшийся во мне под его влиянием интерес к филологической стороне антиковедения, так что уже на четвертом курсе я начал всерьез шлифовать свою языковую подготовку, в чем - надо это подчеркнуть - мне охотно шли навстречу мои официальные университетские наставники.

Так, К.М.Колобова, которая, со своей стороны, в те же годы стала сознавать недостаточность собственной филологической подготовки, с увлечением читала со мной речи Исея, бесспорно, важные для изучения социально-экономической жизни древних греков, что нами тогда воспринималось как заглавная задача науки об античности. Следуя этой установке, я и в латинской литературе избрал для ближайшего изучения экономическое сочинение - трактат Катона "О сельском хозяйстве", и бедный Н.Н.Залесский, в обязанность которого в ту пору входило наставлять меня в латыни, безропотно читал со мной это весьма специальное творение древнего зануды, - занятие, которое, что греха таить, ни ему, ни мне не доставляло никакой радости. К счастью, тогдашнее мое увлечение античной экономикой было мудро скорректировано И.С.Свенцицкой, моей старшей приятельницей (она была уже аспиранткой), которая посоветовала мне заняться "Экономиком" Ксенофонта. И вот на четвертом и пятом курсах я во всю углубился в "Малые сочинения" Ксенофонта, читая их по гречески и записывая свой перевод, **[492]** не ведая в ту пору об уже имеющихся русских переводах и потому не пользуясь ими для вящей своей пользы.

Доватур всячески одобрял это мое увлечение, но вместе с тем он и исправлял его, дабы оно не носило чисто прикладной характер, сугубо лишь для подпитки социально-экономических штудий, но вело к более широкому знакомству с античной литературой и культурой. Так, под его влиянием я естественно перешел от специальных трактатов Ксенофонта к его Сократическим сочинениям, а сама тема научных занятий расширилась от частного экономического аспекта к более широкому постижению - через биографию и произведения Ксенофонта - жизни аристократической элиты греческого общества в классическую эпоху.

Равным образом по наущению моего внеуниверситетского наставника я сильно расширил свои чтения научной литературы и, в этой связи, свои занятия новыми иностранными языками. Очень скоро к английскому языку я добавил французский, и тогда открылась еще одна возможность для развития нашей дружбы - более предметные беседы на темы одинаково увлекавшей нас французской литературы и истории.

Наконец, назову еще одно направление одновременно языковых и более высоких научных занятий, указанное мне Доватуром, - чтение новолатинских диссертаций (преимущественно немецких ученых прошлого и начала нынешнего столетий), в ряду которых первой была прекрасная работа кёнигсбержца А.Рокетта "О жизни Ксенофонта" (A.Roquette. De Xenophontis vita, 1884). С этого началось и мое более широкое историографическое образование: наука об античности стала раскрываться передо мной не только в отдельных книгах и авторах, с которыми я сталкивался по тому или иному поводу, но и в различных национальных школах и направлениях, со своими эрудитскими и исследовательскими традициями и приемами.

Мое окончание университетского курса и поступление в аспирантуру совпало по времени с возобновлением работы Доватура на кафедре классической филологии Ленинградского университета. К.М.Колобова проявила инициативу пригласить Доватура на нашу кафедру для чтения древних авторов с новым аспирантом, т.е. со мной, и вот с осени 1955 г. начались эти замечательные занятия, которые не прервались и с моим окончанием аспирантуры и продолжались в общей сложности девять лет, по 1963/64 учебный **[493]** год включительно. Все эти годы я пользовался почти исключительным правом общения с руководителем этих занятий. Лишь в начале первого года несколько недель ходил на эти занятия В.Н.Андреев (позднее известный исследователь аграрных отношений в Аттике, а тогда - аспирант Герценовского института, допущенный к чтениям по рекомендации М.Н.Ботвинника), да в позднейшие годы на более или менее продолжительный срок присоединялись к чтениям молодые тогда филологи Г.Г.Анпеткова-Шарова и А.Б.Черняк.

Занятия заключались в попеременном (через год в шахматном порядке), еженедельном чтении греческих и латинских авторов. Первыми, естественно, стали Ксенофонт и Цезарь, - только, с учетом моего "продвинутого" состояния, не "Анабасис" и "Галльские войны", а "Греческая история" и "Гражданские войны", - а затем последовали: из греков - Фукидид, Полибий, Платон ("Государство"), Лонг, Софокл ("Антигона"), Аристофан ("Мир"), а кроме того, надписи по изданиям Диттенбергера и Сольмсена (диалектные надписи); из римлян - Цицерон ("Филиппики" и письма), Веллей Патеркул, Петроний, "Авторы жизнеописаний Августов", Плавт ("Хвастливый воин"), Гораций (оды), Овидий ("Наука любви") и Марциал. Системный и хронологический принципы моего перечня не должны вводить в заблуждение: кроме первых -Ксенофонта и Цезаря, - остальные выбирались в соответствии с сиюминутным интересом участников. "Ну, что будем читать в этом году?" - спрашивал Доватур на первом занятии, и тут же выбирали текст по обоюдному согласию.

Ход занятий был прост и продуктивен. Зараз прочитывали по 3-4 страницы стандартного тейбнеровского текста, причем упор делался на курсорность чтения. Впрочем, интересные или сложные места не оставлялись без разбора и необходимых, но в легкой форме, поучений. Так, не без иронии наш наставник обращал внимание на отсутствие в добротном комментарии какого-либо ученого немца (если таковой был под рукой) разъяснений как раз по поводу данного весьма трудного места. "Обычная история, - смеялся Доватур. - Если место действительно трудно и непонятно, не ищите объяснений в комментарии: их не будет".

В этой же связи, точно так же как Нибур в знаменитом "Письме к филологу", он предупреждал своих учеников против манеры подсовывать наставнику для разъяснений слишком трудные тексты и таким путем загонять его в угол: "При желании можно поставить в **[494]** тупик каждого, но это ровным счетом ничего не доказывает, кроме детского коварства вопрошающего".

С юмором относился он и к чтению щекотливых мест (особенно в древней комедии) и развлекал своих слушателей подробностями о том, как выходили из таких трудных положений другие, - например, как решительно требовал пропускать такие места при переводе С.А.Жебелев, или как настаивал на их буквальном переводе С.Я.Лурье. Сам он по своему обыкновению держался золотой середины - предлагал перелагать общий смысл пассажа, избегая неприличий буквального перевода.

К таким занятиям, на которых прочитывалось до четырех страниц печатного текста, приходилось довольно долго готовиться дома (особенно на первых порах), но самые занятия шли легко и интересно. За вычетом обсуждения действительно трудных или как-то примечательных форм (вроде нечасто встречающегося у греков плюсквамперфекта, при встрече с которым наш наставник шутливо приглашал нас, в знак уважения, встать), Доватур избегал грамматического занудства, больше внимания обращал на содержание читаемого текста, на характерные мысли и приемы автора (например, при чтении Цезаря - на часто встречающиеся у того сентенции общего характера), пояснял свою мысль параллелями (подчас самого неожиданного свойства), никогда, однако, не превращая эти отступления в неуправляемый поток воспоминаний и сохраняя,таким образом, общий, достаточно энергичный ритм занятий.

Одним словом, это была поистине высокая школа,- языковая, литературоведческая, историческая, культурологическая одновременно, - направлять которую мог только такой выдающийся знаток своего дела, такой первоклассный ученый и педагог, каким был Доватур. Тем более было бы интересно напоследок познакомиться с собственными воззрениями этого замечательного человека, с его взглядами на предмет своих занятий, на общие принципы, которых он придерживался в своей ученой деятельности, на свое место в науке.

Задаться такими вопросами вполне естественно, но ответить на них не так-то просто, потому что для этого надо располагать отчетливыми свидетельствами, и сторонними, и самого данного человека, дабы можно было заглянуть в сокровенные тайники его души. К счастью, у нас нет недостатка в таких свидетельствах: отчасти это свидетельства различных людей, общавшихся с Доватуром в **[495]** разные годы, в том числе и мои личные наблюдения и воспоминания, достаточно богатые, поскольку мне посчатливилось близко знать этого человека на протяжении целых тридцати лет, отчасти - россыпь его собственных высказываний в только что опубликованной переписке с Е.А.Миллиор, представляющей драгоценный аутентичный источник для суждения о жизненном и научном кредо моего учителя.67

Предметом научных занятий Доватура была античность, но не в ее элементарных материальных основаниях, какими являются экономические и политические отношения, а в ее высшем духовном существе, запечатленном в творениях самих древних. Иными словами, его интересовало познание познанного (Erkenntnis des Erkanntes, по выражению какого-то немца, кажется, Августа Бёка), и он с увлечением штудировал сочинения древних писателей. При этом реальный контекст, историческая эпоха, в которой протекало их творчество, его интересовали лишь постольку, поскольку это было безусловно необходимо, поскольку это создавало нужный для его работы фон, но не более того.

Он в первую очередь был филологом (в высоком смысле этого слова), а истории отводил сугубо вспомогательную роль, всерьез считая ее лишь необходимым элементом, лишь частью классической филологии, которая олицетворяла в его глазах всю науку об античности. Нередко мы схватывались с ним на этой почве, и тогда он не упускал случая съязвить по поводу ущербности исторической науки, которая как таковая, по его мнению, не имела права на самостоятельное существование, не обладая даже ясно очерченным собственным предметом. Как-то мы шли с ним по коридору исторического факультета и наткнулись на объявление, приглашавшее принять участие в публичном диспуте на тему: "Что такое история?". "Вот видите, - обратился он ко мне торжествуя. - Такое можно увидеть только на историческом факультете. Ни у физиков, ни у математиков, ни у филологов вы не встретите ничего подобного; им не надо дискутировать о предмете своей науки, потому что он очевиден".

Уязвимость такой позиции тоже очевидна: споры вокруг науки **[496]** истории не означают, что такой науки нет; для всякого непредвзято судящего человека бесспорным является не только существование исторической науки (кстати, одной из древнейших, если не самой древней отрасли научного знания), но и заглавное значение этой науки среди круга гуманитарных дисциплин. С другой стороны, изучение творчества древних писателей преимущественно ради постижения его самого, - к примеру, анализ прежде всего и главным образом элегий Солона, а не архаической революции VII-VI вв., новеллистической традиции о тиранах у Геродота, а не тирании, представлений Аристотеля об упадке греческих полисов, а не кризиса полиса как такового, - такой подход в антиковедных занятиях не мог не страдать филологической односторонностью, что неизбежно должно было сказываться на качестве заключительных общих суждений.

Например, предположение Доватура о том, что первоначальный пласт предания о старших тиранах был положительного свойства, потому что сама старшая тирания была явлением по сути дела положительным, содействовавшим прогрессивному развитию и формированию полиса, а стало быть, возбуждавшим симпатии большинства народа, - это предположение всегда вызывало у меня сомнения именно потому, что сомнительна была та роль, которую сыграла тирания в греческой истории. Чтобы решить вопрос о том, какого свойства была с самого начала новеллистическая традиция о тиранах, надо было исследовать на основании всех доступных источников само явление тирании и после уже судить о возможной общественной реакции на него и начальном качестве новеллистической традиции.

При всем том показательным, однако, был преимущественный интерес Доватура к писателям, так или иначе ангажированным в политику (ибо Солон, Феогнид, Геродот и Аристотель были именно такими писателями). Сдается, что глубинным импульсом для антиковедных филологических занятий Доватура был именно политический, т.е. исторический интерес, и это дает нам право причислить его, со всеми необходимыми оговорками, к традиционно главенствовавшему у нас историко-филологическому направлению.

Для уточнения собственной позиции Доватура в этом русле полезно будет принять во внимание его отношение к другим выдающимся представителям той же школы: он совершенно игнорировал М.С.Куторгу, который первым у нас выдвинул и исследовал проблему **[497]** полиса (ср. выразительное умолчание об его исследованиях в монографии о рабстве в Аттике в VI-V вв.), редко и без особого интереса вспоминал о Ф.Ф.Соколове, трудившемся над реконструкцией исторических фактов, зато с почтительным восторгом по любому поводу ссылался на С.А.Жебелева и И.И.Толстого, авторитет которых был для него непререкаем. Однако в реальном плане его близость с ними также была относительной и, так сказать, избирательной: от Жебелева он унаследовал интерес к античной политике, с Толстым его роднило филологическое мастерство, но он не был механическим воспроизведением ни того, ни другого.

Что же касается ученых других направлений - современников его учителей и равных с ними по славе, например, корифея историко-культурного направления Ф.Ф.Зелинского или зачинателя социально-экономических штудий М.И.Ростовцева, то о них он, конечно, упоминал иногда (на уровне какого-нибудь анекдота), но без какого-либо особенного интереса.

Чтобы точнее представить себе излюбленное Доватуром поле научных изысканий, полезно будет познакомиться с некоторыми из его суждений на этот счет в переписке с Е.А.Миллиор. В связи с опасным, на его взгляд, влечением его корреспондентки (античницы по образованию), к Востоку, к древней среднеазиатской истории, он замечает: "Все-таки во всем этом есть и страшная сторона. Ведь незнание языков, невозможность собственными глазами проверить автора (как бы ни был авторитетен и талантлив Толстов) приводит к тому, что вы всегда и во всем будете a la merci того, кого вы в данный момент читаете. Если я правильно представляю себе дело, археологические данные должны дополняться данными историческими, - свидетельствами, текстами. Не так ли? - Сужу здесь по себе - там, где кончается письменность, там кончается и мой живой, непосредственный интерес".68 И чуть далее, в другом письме: "Я всегда был и остаюсь филологом (что не исключает исторических интересов; мне даже кажется, что трудно быть филологом, не имея исторических интересов) и, высказывая свои опасения, я говорил как филолог, испытывающий страх всякий раз, как ему приходится сталкиваться с чуждой лингвистической почвой".69

Если к истории Востока, чуждой ему в силу незнакомства с восточной языковой средой, Доватур испытывал что-то вроде страха, **[498]** то с неменьшим опасением и даже неприязнью относился он к модным увлечениям филологов структурализмом, а историков - социологией. Из разговоров с ним я знал о его стойком неприятии структуралистских упражнений О.М.Фрейденберг, а как он относился к безумным теориям Н.Я.Марра, видно по следующему признанию в письме к Миллиор (он вспоминает о недавней подготовке к кандидатским экзаменам): "Сначала я, в соответствии с программой, перечитал Марра, попробовал усвоить очень не понравившуюся мне книжку Кацнельсона, а затем с огромным удовлетворением узнал, что тридцать лет висевшая над русской наукой мрачная туча в виде теории Марра, из которой если и падали какие-нибудь дожди, то только каменные, рассеяна навсегда".70

Что же касается социологических увлечений, то по поводу лругой возможной темы занятий Миллиор - "Об особенностях античного государства" - Доватур писал: "Понимаю историка, который занимается со студентами изучением конкретной эпохи и попутно привлекает более общие вопросы, но я абсолютно лишен способности понимать преимущество такой постановки вопроса, которая сама по себе требует растекания мысли по древу - и по обширности материала, и по необходимости постоянного сравнения с другими формациями ("особенность" античного государства - по сравнению с каким - социалистическим, капиталистическим, феодальным или всеми вместе?)".71

Надежность опирающихся на добротные тексты историко-филологических изысканий - вот что более всего ценил Доватур в собственных занятиях античностью. Но здесь встает уже другой вопрос: как именно, по его мнению, при заданных уже параметрах (географический ареал, хронологические рамки, языковая среда изучаемой культуры) могла быть достигнута надлежащая степень надежности в таких исследованиях. Для ответа на этот вопрос необходимо привлечь другие суждения Доватура - об общем методе и конкретной методике антиковедных занятий.

Строго говоря, ничего таинственного или необычного в его взглядах на метод изучения античности не было. Его программа сводилась к следующему. Прежде всего необходимо овладение древними классическими языками, греческим и латинским, необходимо систематическое чтение и изучение источников по изучаемой теме, а для **[499]** поддержания хорошей филологической формы он и другим советовал и сам неуклонно придерживался простого правила - ежегодно перечитывать в той и другой литературе (т.е. в греческой и латинской) по какому-либо особо интересному для себя автору (сам он из года в год перечитывал из греческих авторов Геродота, а из латинских - Горация).

Другой задачей, к выполнению которой следовало приступать чуть позже или параллельно изучению источников, естественно должно было стать, по его мнению, изучение научной литературы нового времени, - отечественной, а из иностранной в первую очередь, ввиду ее особой солидности и надежности, - немецкой. Классическая немецкая историография рубежа XIX-XX вв., в лице в частности Г.Бузольта и Эд.Мейера, могла предоставить, по его убеждению, самую солидную опору для последующих собственных изысканий. При этом, однако, он указывал на полезность столкновения время от времени и со слабой книгой или статьей, которая именно вследствие своей слабости, очевидных просчетов или ошибок, могла возбудить критическую работу мысли.

В конкретном плане, разъяснял он далее, следовало выискать в уже существующей литературе наиболее основательное пособие по своей теме и хорошенько его изучить, т.е. сделать подробный конспект, который мог быть положен в основу собственного исследования. Сам он, приступая к подготовке своей диссертации о Геродоте, сделал для себя подробнейшее переложение обстоятельной статьи - по сути дела целой монографии - Ф.Якоби об Отце истории, опубликованной во втором дополнительном томе "Реальной энциклопедии" Паули - Виссовы. Отлично понимая консервативный характер нашей науки, Доватур трезво смотрел на возможности новой оригинальной разработки и заявлял, что "если в созданной вами работе окажется три процента новизны, то вы можете быть довольны общим результатом".

Естественным продолжением (а заодно и дополнительным разъяснением) взглядов Доватура на научную работу могут служить его суждения о другой стороне деятельности нормального гуманитара - о преподавании. Сам он был привержен этой стороне не менее, чем собственно научному труду. "Занятия со студентами, - говорил он, - одно из самых важных, захватывающих и даже занимательных дел, которые вообще существуют на свете".72

**[500]** Для него было понятно значение преподавания как важного побудительного импульса к личному научному совершенствованию. "Подготовка к занятиям со студентами, - продолжал он в том же письме к Миллиор, - дает преподавателю не меньше, чем работа для себя: 1) многое из того, что кажется само собой разумеющимся, оказывается требующим особого внимания и выяснения для себя же; 2) отдельные совершенно ускользавшие детали - вдруг становятся в центре внимания и приобретают свой настоящий удельный вес; 3) главным образом при такой работе - на студентов - преподаватель вырабатывает для себя какие-то общие точки зрения (пусть черновые, неокончательные, но практически нужные)".73

Вместе с тем он подчеркивал, какую большую ответственность принимает на себя тот, кто берется быть наставником. "Уверены ли Вы, - спрашивал он свою корреспондентку, - что все преподаватели действительно их (т.е. студентов. - Э.Ф.) учат, т.е. не просто излагают материал, как того требует программа, или, что гораздо хуже, - заняты не показыванием собственной персоны студентам, а работают со студентами, не гнушаясь самой черной работой; ведь, мне кажется, студент (особенно начинающий) должен учиться у своих учителей всему, начиная с весьма элементарных вещей; он должен быть уверен, что любой вопрос, начиная с технических подробностей записи лекции, - не останется без ответа и не встретит холодного или отклоняющего ответа".74

Говоря об увлекательности, полезности, но и ответственности работы университетского преподавтеля, Доватур обращал внимание на необходимость для наставника соразмерять свое изложение с уровнем подготовки слушателей, не форсировать изложение предмета неоправданным скорым обращением к чересчур высоким и сложным темам. Касаясь отведения Миллиор в своих лекциях по древней истории для первокурсников "целых часов" на разбор отдельных трагедий Эсхила, он замечал: "Подавляющее большинство студентов впервые слышит об Эсхиле (таких не 99%, а 99 и 9 в периоде - процента). Если бы можно было быть уверенным, что, впервые слыша об античности, они очень начитаны в русской и европейской литературе, привыкли думать и говорить о мировоззрении, литературном стиле etc., - то преподнесение им истории античной трагедии в тонкой обработке могло бы считаться оправданным. **[501]** Если же всего этого нет, - то не получится ли опасность, с моей точки зрения (допускаю возможность и иных точек зрения, - для меня, впрочем, неприемлемых), очень серьезная: вслед за преподавателем, который рассуждает о высоких материях en connaissance de cause, туда же ринутся ученики, которые, - ничего толком не зная, - могут найти для себя весьма привлекательным проделывание пируэтов на вершине башни, совершенно миновав крутую и темную лестницу, по которой следует на эту башню взбираться? - Почему никому не придет в голову объяснять теорию чисел или даже высшую алгебру тем, кто не знает геометрии Евклида и не умеет решать уравнений, - а в наших науках, как, впрочем, и в биологических, считается возможным рассуждать об очень сложных вопросах перед слушателями, не знающими, кто был раньше - Аристофан или Менандр (или различать самые распространенные виды птиц)".75

Вообще Доватур был убежден в необходимости систематического, поэтапного восхождения в науке, с непременным предварительным освоением азов, что применительно к занятиям античностью сводится к овладению элементарным знанием древних языков. "Должен сказать Вам откровенно, что студент - энтузиаст античности, будь он архикультурен, семи пядей во лбу, необыкновенно талантлив, - если он не прошел основательно грамматики латинского и греческого языков, был бы для меня просто неприемлемым".76

Отсюда же проистекало и неприятие им принятой на историческом факультете практики составления студентами курсовых работ начиная с первого года обучения. "Ну, что они могут написать дельного, если они не прошли еще элементарной подготовки ни в языках, ни даже в самой истории?" - спрашивал он меня с возмущением. Но здесь уже начиналось мое несогласие с ним: хотя его мнение подкреплялось таким авторитетом, как Б.Г.Нибур, который в "Письме к филологу" также предупреждает против раннего обращения начинающих филологов к составлению ученых сочинений, я не видел и не вижу для студента- гуманитара другого средства эффективного овладения материалом помимо письменного сочинения. Пусть оно будет поначалу несовершенным, но только таким пробным путем, учась на собственных ошибках, указывать на которые - долг научного руководителя, студент может овладеть **[502]** навыками аналитической работы и письменного изложения, без чего он не может стать специалистом.

Надеюсь, читатель правильно поймет мои критические реплики: они выдают естественные у другого, коли он не отказывается от права на самостоятельное суждение, разногласия с мнением авторитета, даже если этот авторитет - его собственный почитаемый учитель. Но эти оговорки не меняют общего моего глубокого уважения к труду и личности А.И.Доватура, который остается для меня вечным образцом и примером для подражания. Именно поэтому я хочу завершить свой рассакз об этом замечательном человеке тремя его сентенциями (из той же переписки), выдающими сокровенную и глубоко для меня симпатичную суть его натуры.

О качестве своего ума: "Свой главный недостаток я знаю, так как давно осознал его: отсутствие оригинальности ума. Il avait assez d'esprit pour comprendre sa mediocrite (Anatole France o Msieur Bergeret) - единственный вид ума, на который я претендую".77 - Понимать это заявление, сделанное в духе Сократа, надо, конечно, cum grano salis: сомневаться в высоком качестве интеллекта Доватура не приходится, но он действительно всегда держался золотой середины, и присущий ему здравый смысл предостерегал его от крайних и парадоксальных суждений, которые обычно и считаются признаком оригинальности.

О соответствующей приверженности своей здравым традиционным нормам: "Кстати, насчет банальности и силлогизмов типа "все люди смертны". Всю жизнь держался и буду держаться мнения, что подобные силлогизмы, таблица умножения и еще некоторые вещи в таком же роде прямо или косвенно лежат в основе всего того, что следует запоминать, знать или класть в основу своих воззрений, поведения, деятельности. В своем роде это гётевские Mutter, заслуживающие безусловного и глубокого почтения. Где их нет - там нет ни настоящей науки... ни твердых принципов практической деятельности и поведения; там начинается область, столь любимая прежней русской интеллигенцией, к которой вполне применимы стишки, придуманные кем-то, впрочем, по другому поводу:

|  |
| --- |
| Heute schottisch, morgen spanisch,Ubermorgen ganz japanisch,Aber immer bis zum Tode -**[503]** A la mode, a la mode".78 |

И наконец, указание на главное свойство характера, которым он вежливо награждает свою корреспондентку, но которым на самом деле владел он сам: "сочетание большой внутренней энергии с хорошим владением собой (maitrise de soi-meme), - умение, с помощью и под контролем мыслительного аппарата, направлять свою деятельность, работу, поступки в нужную сторону".79

4. Ксения Михайловна Колобова (1905-1977 гг.)

Обращаясь к последнему и самому дорогому для меня персонажу - к моей первой университетской наставнице К.М.Колобовой, я испытываю затруднения, которые естественны, когда приходится рассказывать о человеке, с которым долго и прочно был связан. В свое время, пока Ксения Михайловна была жива, мне и в голову не приходило собирать сведения о моем учителе и друге и составлять из них связное повествование. Потом, когда она умерла, у меня не было решимости писать о ней некролог - до такой степени мне чужда была самая идея думать и говорить о ней как о покойной. Теперь же, когда прошло столько лет со дня ее смерти и мне надо рассказать о ней другим, я с сожалением обнаруживаю, что документальных материалов для такого рассказа у меня почти нет, а в памяти сохранилось скорее общее впечатление о человеке, нежели точные контуры биографии. Мне придется более полагаться на разрозненные воспоминания - мои собственные и сына Ксении Михайловны, известного петербургского философа Валерия Владимировича Селиванова, с которым я сохраняю дружеские связи до сих пор. Он же предоставил в мое распоряжение составленную им краткую биографическую справку о своей матери и список ее трудов, за что я и приношу ему здесь сердечную благодарность.

Ксения Михайловна Колобова родилась 31 декабря (по старому стилю) 1905 г. в Ашхабаде в интеллигентной семье. Ее отец был в ту пору священником, но позднее, из-за разногласий с церковными иерархами, он сложил с себя сан и служил в каком-то ведомстве в Баку. Здесь, в Баку, Ксения Михайловна окончила гимназию и поступила на историко-филологический факультет только что основанного (в 1919 г.) Азербайджанского университета. Большая часть **[504]** преподавателей в этом университете состояла тогда из русских специалистов, нередко очень высокого уровня, отъехавших в голодные годы на юг из Петербурга и Москвы.

Своею специальностью юная студентка избрала изучение античности, а ее главным наставником стал выдающийся филолог-классик и поэт-символист Вячеслав Иванович Иванов, преподававший в Азербайджанском университете практически с момента его открытия и до своего отъезда за границу (1920-1924 гг.). Под руководством Вяч.Иванова Колобова получила хорошую антиковедную подготовку, сильно расширила свои познания в истории мировой культуры и развила тот особенный вкус к изящной словесности, к искусству слова, который в молодые годы властно побуждал ее к сочинению стихов, а позднее проявлял себя в переводах с греческого, в литературных зарисовках (отдельных и в рамках научных работ) и в тех свободных беседах, которые она так охотно вела со своими учениками в домашней обстановке.

Надо заметить, что в кругу учеников и почитателей Вяч. Иванова К.М.Колобова выделялась особенной интеллектуальной самостоятельностью и научной целеустремленностью. Это признает такой тонкий и умный наблюдатель, каким была дочь знаменитого мэтра Лидия Вячеславовна Иванова, оставившая поистине прекрасные воспоминания. Она отзывается о Колобовой как об "очень умной" и "одной из самых блестящих и близких бакинских учениц Вячеслава [Иванова]". При этом, однако, бросается в глаза любопытный факт: заметки Лидии Ивановой о Колобовой отличаются лаконичностью и сдержанностью, в особенности в сравнении с тем, как она пишет о других питомцах Иванова в бакинский период, к примеру, о Е.А.Миллиор и М.С.Альтмане, о которых она отзывается и подробнее и теплее.80

Собственно о будущей звезде ленинградского антиковедения Лидия Иванова упоминает лишь в связи с той эпистолярной полемикой, которая вспыхнула позднее (в 1927-1928 гг.) между Колобовой и Ивановым в связи с его "Палинодией" - стихотворением, где поэт готов был признаться в своем пресыщении "гиметским медом" и охлаждении к античности, на что бывшая ученица ответила бурей негодования. При этом ее реакция была тем более бурной, что в эстетическом отступничестве своего наставника она **[505]** усмотрела нечто большее - перемену в самой жизненной позиции, которую она никак не могла принять. Впрочем, стороны объяснились и конфликт был улажен. Однако сам эпизод примечателен: он показывает рано развившуюся в К.М.Колобовой самостоятельность суждений и способность к критике, что не прощается в кругу почитателей и близких гения.

По окончании университета в Баку (в 1926 г.) К.М.Колобова переезжает в Ленинград, где, после некоторых мытарств, когда ей пришлось работать на фабрике, а затем учительствовать в школе для взрослых, находит возможность продолжить свое образование и обрести, наконец, свое место в науке. С 1930 по 1932 г. она состоит в аспирантуре ГАИМК, а по окончании аспирантуры становится там же научным сотрудником. Она активно занимается научной деятельностью, и из печати одна за другой выходят ее работы. Одновременно она начинает работать в высшей школе. С 1937 г. она - штатный сотрудник кафедры истории древней Греции и Рима Ленинградского университета. В том же году ей присваиваются ученая степень кандидата исторических наук и звание доцента.

С тех пор, за вычетом короткого перерыва во время войны, когда в эвакуации ей пришлось проработать два года (1942-1944) в педагогических институтах Астрахани и Куйбышева, вся жизнь К.М.Колобовой была связана с кафедрой античной истории на историческом факультете Ленинградского университета: здесь она стала доктором и профессором (1949), некоторое время была даже деканом факультета (1949-1951) и долгие годы - заведующим своей кафедры (1956-1971 гг.). Ее уход на пенсию в 1971 г. был вынужденным: уже с середины 60-х годов у нее стали проявляться признаки тяжелого заболевания (по-видимому, болезнь Альцгеймера), что, в конце концов, сделало невозможной какую бы то ни было интеллектуальную работу. Она умерла 2 февраля 1977 г.

К.М.Колобова была оригинальным, крупным ученым, чьи труды внесли существенный вклад в отечественную науку об античности. При этом она была специалистом-антиковедом новой формации: с конца 20-х годов она с головой ушла в изучение марксистской философии истории, труды Маркса и Энгельса стали ее главными теоретическими опорами, на которых она возводила все свои построения в области античной истории. Как это было естественно в особенности для первого поколения историков-марксистов, она концентрировала свое внимание прежде всего на изучении социально-**[506]**экономических проблем античного мира, и в первую очередь древней Греции, которая всегда оставалась главным предметом ее интересов.

Надо, однако, заметить, что в школе Вяч. Иванова, а позднее в ГАИМК, в общении с такими выдающимися, но в то же время весьма разными по своей натуре корифеями тогдашней науки, как С.А.Жебелев и Н.Я.Марр, она получила слишком богатую и разностороннюю подготовку, чтобы довольствоваться созданием одних лишь социологических схем.81 Осмысленную в главных чертах через призму марксистской теории античность она хотела видеть во всей полноте ее конкретных проявлений, полнокровной и живой. Отсюда - то богатство конкретно-исторических изысканий, которое при самой высокой теоретической и идеологической ангажированности отличает научное творчество К.М.Колобовой.

Эти качества в полной мере присущи работам К.М.Колобовой по социально-экономическим проблемам античности, которыми она дебютировала в науке в довоенное время. Мы имеем в виду прежде всего монографическое исследование "К вопросу о судовладении в древней Греции" (Известия ГАИМК, вып.61, Л., 1933), где обстоятельно изучены категории судовладельцев (навклеров) и купцов (эмпоров) и их религиозно-профессиональные объединения как в греческом мире вообще, так и специально в Северном Причерноморье, в особенности в городах Боспора. Если в названной монографии рассматривается широкая, но все же конкретная проблема морской торговли, то в вышедшем в том же году небольшом этюде сделана попытка оценить вклад древних в разработку кардинальной политэкономической темы - темы денег,82 а годом позже в другом этюде затронута другая важная тема, но уже из сферы социальных отношений, - тема издольщины, положения и судьбы бедняков-арендаторов в архаических Афинах.83

Своеобразным итогом этих социально-экономических изысканий **[507]** стал общий очерк экономики классической Греции, опубликованный в рамках известной, изданной ГАИМК в 1937 г. "Истории древней Греции".84 Строго говоря, у этого очерка два автора - К.М.Колобова и Е.Г.Кагаров. Однако последнему принадлежит только небольшой параграф о сельском хозяйстве, между тем как Колобовой написано все остальное - разделы о непосредственных производителях (последовательно по рубрикам: граждане, метеки, рабы), о промышленности (добыча и обработка металлов, керамическое производство, выделка тканей, строительное дело), о торговле и торговом капитале; ей же принадлежат принципиальные положения об античной экономике, открывающие и заключающие главу.

Очерк до сих пор остается одним из лучших в ряду аналогичных общих обзоров экономики античного мира. Главное его достоинство - систематичность и обстоятельность характеристики важнейших фактов экономической жизни древних греков. Но он интересен и в теоретическом плане, поскольку в полной мере отражает выработанную к тому времени советскими историками концепцию рабовладельческого способа производства как определяющего системного стержня античной экономики. Отсюда - резкое (в духе тех лет) неприятие как взглядов Эд. Мейера и М.И.Ростовцева, не видевших особых различий между экономической жизнью классической древности и отношениями нового, капиталистического времени, так и теории К.Бюхера, низводившего античность до уровня примитивного, обходившегося без развитой системы обмена, натурального хозяйства.

Развитое Колобовой в конце главы марксистское представление о натуральном элементе античной экономики, не исключавшем развитие товарно-денежных отношений, но ставившем ему известный предел, является по существу совершенно правильным в отличие от распространившихся у нас позднее, в духе Бюхера и под влиянием М.Финли, представлений об общей натуральности античной экономики. "Основой натурального хозяйства, как это показал Маркс, - пишет Колобова, - являются отношения производства, а не обмена, как пытался доказать Бюхер, отождествляя "натуральность" хозяйства с его "замкнутостью". Таким образом, Бюхер понимал под **[508]** натуральным хозяйством замкнутое домашнее производство, удовлетворяющее нужды семьи своими силами, без посредства рынка. Маркс достаточно четко показал, что натуральное хозяйство есть хозяйство, основанное на натуральном присвоении рабочей силы методом внеэкономического принуждения. Античное рабовладельческое хозяйство натурально по самой своей природе, так как рабочего насильно превращают в раба. Несомненно, и мы видим это на примере античности, что натуральное хозяйство могло допускать довольно высокое развитие и обмена и денежного капитала, и в этом отношении его никак нельзя отождествлять с хозяйством замкнутым. Но несомненно и то, что натуральное хозяйство ставит пределы высоте этого развития. Рабство, являясь основой общества, закрывает пути к развитию производителя как товаропроизводителя, а тем самым ставит границы и производству товаров на рынок. Говоря о ремесле, мы отмечали свойственную античности тенденцию употреблять прибыль от мастерских не на расширение производства, а на извлечение торговых выгод путем ссудных операций. Производство в рабских мастерских - также в силу специфических условий античного общества - допускало только очень ограниченное число занятых в мастерских рабов. Производству товаров на рынок, таким образом, ставилась определенная граница. Вместе с тем ставилась граница и беспрепятственному развитию торгового и денежного капитала".85

Не только экономическая жизнь, но и социальный строй и отношения между классами в античном мире привлекали внимание К.М.Колобовой. Отчасти это объяснялось общим, директивно узаконенным направлением новой марксистской науки, отчасти - естественным стремлением исследователя глубже вникнуть в структуру античного общества и понять самую его природу. Она углубляется в социальную историю ведущего греческого полиса Афин, и за статьей о древней аттической издольщине следуют специальные работы о древнейшей родовой структуре, а затем и об исходном моменте формирования нового государства в Аттике - реформах Солона.86

Наряду с Афинами Колобову уже тогда, в довоенные годы, начинала **[509]** интересовать история Родоса, этого, быть может, наиболее примечательного центра островной Греции, чья история предоставляла богатейший материал для изучения самых разных аспектов жизнедеятельности древних греков - и их торговли, и тесно связанной с нею колонизации, и общего политогенеза.87 Афины и Родос становятся для Колобовой двумя наиболее привлекательными объектами изучения, на материале которых она отчасти проверяла усвоенные ею общие марксистские схемы, отчасти же самостоятельно возводила общие построения в области древнегреческой истории.

С особой силой и результативностью развернулась работа К.М.Колобовой по изучению этих двух очагов греческой цивилизации в послевоенные годы. В середине 40-х гг. она усиленно работала над монографией, посвященной древнейшей истории Родоса. За журнальными статьями88 последовала публикация тезисов и автореферата работы, которая была представлена и защищена в качестве докторской диссертации;89 чуть позже весь труд был опубликован под заглавием "Из истории раннегреческого общества (о. Родос IХ-VII вв. до н.э.)" (Л., 1951).

Названное произведение - одна из самых фундаментальных работ, созданных в отечественной историографии по проблемам генезиса древнегреческой цивилизации. Здесь впервые в нашей науке были прослежены судьбы крито-микенского культурного наследия в отдельно взятом конкретном регионе, были показаны взаимодействие минойской, ахейской и дорийской культур, рождение полиса в зоне дорийского расселения и роль сопутствовавшего этому процессу важного явления - колонизации. Особое значение имело данное Колобовой обоснование "двусторонности" греческой колонизации, т.е. ее зависимости не только от потребностей и возможностей развивавшихся греческих городов-государств, которые, естественно, склонны были решать свои социальные проблемы за чужой счет, но **[510]** и от уровня развития объектов колонизации - периферийных варварских племен, которые уже должны были быть готовы вступить в контакт с греческими переселенцами.

Такая постановка вопроса не была совершенно нова. Ее истоки можно искать в трудах М.И.Ростовцева, развивавшего взгляд о конструктивном взаимодействии греческого и туземного (иранского) элементов в Северном Причерноморье. В 30-х гг. в рамках уже упоминавшейся коллективной монографии "История древней Греции" С.А.Жебелев решительно высказался за взаимовыгодность, т.е. "двусторонность" колонизационного процесса.90 Однако у Колобовой эта идея получила ярко выраженную идеологическую направленность - заостренность против классической, "буржузной" историографии, которая, рассматривая процесс колонизации, подчеркивала решающую роль греческой инициативы и греческого культурного воздействия и таким образом будто бы принижала значение периферийных народов.

Идеологическая подоплека этой критики совершенно понятна в контексте развернутой тогда в СССР борьбы с буржуазным космополитизмом и западными влияниями. Однако к чести К.М.Колобовой надо заметить, что увлечение идеей "двусторонности" не помешало ей общим образом верно оценить греческую колонизацию как явление по сути дела империалистическое, т.е. вполне "одностороннее". Указывая, что "колонизационная экспансия является характерным и составным элементом развития рабовладельческого строя", она вполне справедливо усматривала природу этого явления в характере самого античного рабовладельческого общества: "Развитие за счет периферии характерно для всех рабовладельческих обществ. Прежде всего оно обусловлено необходимостью (при развитом рабовладении) приобретать рабов вне территории своего полиса, а на определенной стадии развития греческих полисов - и вне Греции".91

К монографии "Из истории раннегреческого общества" примыкает изданная чуть позже большая статья "К вопросу о минойско-микенском Родосе и проблема "переходного" периода в Эгеиде (1100-900 гг. до н.э.)".92 Здесь, на основе материалов новейших **[511]** археологических и историко-филологических изысканий (в частности, с учетом данных пилосского архива), Колобова попыталась уточнить этапы исторического развития того же Родоса в микенское и субмикенское время. Особое внимание уделила она параллельному критскому материалу с тем, чтобы на его основе проследить формирование системы социально-политических отношений в обществах завоевателей-дорийцев. Сущность переходного периода она видит в революционизирующем внедрении железа и в переходе от примитивных форм рабовладения, обусловленных завоеванием, к формам рабовладения более развитого, полисного типа.

Другая работа, выполненная Колобовой в русле этих исследований, ставила задачей прояснить сущность своеобразных форм зависимости, сохранявшихся в течение долгого времени на дорийском Крите.93 Анализируя различные категории зависимого населения на Крите, в частности войкеев и кларотов, Колобова пришла к существенно иным выводам, чем другой признанный специалист по критским древностям, московская исследовательница Л.Н.Казаманова. Между тем как Казаманова склонна была видеть в войкеях рабов, тождественных кларотам, и сближать их со спартанскими илотами,94 Колобова обосновывала особое положение войкеев как младших членов большесемейной общины, которые лишь со временем, с появлением частного землевладения отдельных семей, превратились в частновладельческих рабов-кларотов.

Изучая глубинные социально-экономические процессы, определившие формирование греческого рабовладельческого общества, К.М.Колобова не оставляла в стороне и политические и даже общекультурные аспекты этой темы. В этом плане весьма плодотворным оказалось изучение афинской истории, в особенности проблем возникновения и развития афинского города и государства. Здесь главный ее труд - большая, до предела насыщенная материалом книга "Древний город Афины и его памятники" (Л., 1961). В этой работе Колобова продолжает традиции изучения древнего города Афин, начатые когда-то выдающимся немецким историком Э.Курциусом.95 Но ее труд, естественно, отличается большей научной **[512]** новизной, поскольку в нем учтены результаты новейших археологических изысканий, в частности немецких раскопок важнейшего городского квартала Керамика и американских обследований агоры.

В книге Колобовой городская история Афин прослеживается в тесной связи с историей Афинского государства, а описание отдельных архитектурных комплексов и памятников (афинского акрополя, агоры, театра Диониса и городских кварталов) переплетается с рассказом о древних обрядах и бытовыми зарисовками. Этот серьезный, обстоятельный труд рассчитан, однако, не только на специалистов, но и на более широкий круг читателей. Он богато иллюстрирован и снабжен подробной библиографией, имеющей самостоятельную ценность.

Дополнением к этой обширной работе об Афинах может служить небольшой этюд, написанный К.М.Колобовой во второй половине 60-х годов, где специально рассматривается начальный этап политической консолидации Аттики в послемикенское время.96 Другим таким этюдом, выдававшим пристальный интерес Колобовой к древнейшей истории греков, стала статья (едва ли не последняя в ее творчестве), посвященная сенсационным находкам восточных цилиндрических печатей ХIV в. до н.э. в беотийсках Фивах, на месте дворца микенского времени, и возобновившейся в этой связи дискуссии по поводу возможного основания Фив древними выходцами из Финикии.97

Углубленное изучение истоков греческой цивилизации и последующего формирования города-государства, полиса, не мешало К.М.Колобовой по-прежнему интересоваться традиционными темами марксистского антиковедения - экономикой и социальными отношениями в классической древности. Этому содействовали пришедшийся на 50-е и 60-е гг. новый виток исследований по проблемам античного рабства и начавшийся в пору "оттепели" пересмотр некоторых догматических положений. В 60-е гг. Колобова откликается на это новое движение рядом публикаций. В специальной статье она исследует употребление термина ***oijkevth"*** (одного из обозначений рабов) у Фукидида и убедительно доказывает, что этим **[513]** словом могли обозначаться не одни только домашние рабы (как полагал Я.А.Ленцман, пытавшийся прямолинейно разместить под разными "рабскими" терминами разные категории рабов), а самые различные группы подневольных рабочих и слуг, занятых в частновладельческом хозяйстве.98 В другой статье она возвращается к истории восстаний рабов в Сицилии и обосновывает участие местного сицилийского населения, т.е. наличие своеобразной национально-освободительной струи во втором восстании, первоначальным центром которого было святилище местных героев Паликов, а руководителем являлся Сальвий, по происхождению италик, а может быть и сицилиец.99

Наконец, итоговое в этой области сочинение Колобовой - большой историографический очерк, где обстоятельно, шаг за шагом прослежена история изучения рабских восстаний в советской науке об античности.100 При этом общая приверженность марксизму не помешала автору, в духе нового времени, подвергнуть критическому пересмотру ряд искусственных положений, выдвинутых в довоенное время. Так, заново разобрав полемику вокруг выступления Савмака, Колобова признала гипотезу С.А.Жебелева о рабском статусе Савмака недоказанной, а трактовку его выступления как рабского восстания - сомнительной. Столь же решительно отвергла она и все попытки (в особенности С.И.Ковалева и А.В.Мишулина) трактовать восстания рабов в Риме как подлинную социальную революцию, равно как и приписывать такой революции решающую роль в сокрушении Римской империи.

Так же как и ее старших коллег по университетской кафедре С.И.Ковалева и С.Я.Лурье, К.М.Колобову отличала широта исторических интересов. Хотя главной областью ее научных занятий была ранняя Греция, она неоднократно "вторгалась" и в более поздние эпохи античной истории, где ее привлекали сюжеты оригинальные, малоизученные, интересные и сами по себе, и тем, что они на избранном материале давали возможность уточнить **[514]** отдельные повороты в развитии или явления в структуре античного общества. Афины в век Демосфена, в критический момент борьбы за свою независимость,101 политика эллинистических царей Фарнака I, заложившего основы державного положения Понтийского царства,102 и Аттала III, своим завещанием спровоцировавшего римское вмешательство и таким образом ускорившего падение независимого Пергамского государства,103 структура гражданской общины и религиозно-профессиональные союзы чужеземцев на Родосе в эллинистическое время104 - вот лишь некоторые, наиболее важные из этих позднейших сюжетов (помимо упомянутого выше восстания рабов в Сицилии), к которым обращалась Колобова в послевоенные годы.

Как это естественно для русского антиковеда, не обошла стороною К.М.Колобова и историю античного Причерноморья. Уже в довоенной своей монографии о судовладении в древней Греции она много внимания уделила развитию морского дела и торговли в городах Северного Причерноморья, в особенности Боспорского царства. В этюде о Фарнаке I она коснулась политического положения северопричерноморских полисов в эллинистическое время, их отношений с набиравшим силу Понтийским царством, в частности в связи с анализом договора Фарнака с Херсонесом. Чуть позже она исследовала важный вопрос о положении греческих городов в составе Боспорского государства, доказывая, что эти города сохраняли свой полисный статус, и что их отношения с правителями Боспора строились по тому же типу диалога полис - монархия, что и в прочих эллинистических государствах.105 Для суждения о взглядах Колобовой как на историческое развитие Понтийского региона, **[515]** так и на методологию осуществляемых в этой области исследований весьма важны составленные ею чрезвычайно обстоятельные критические обзоры трудов С.А.Жебелева и М.И.Максимовой.106

Вообще надо подчеркнуть свойственное К.М.Колобовой повышенное внимание к проблемам научной методологии, к теоретическому осмыслению античной истории. Выше мы уже отмечали ее вклад в разработку проблемы рождения и формирования греческого полиса. По существу тема полиса как заглавная для современного антиковедения вновь была заявлена на ленинградской кафедре античной истории именно Колобовой. Существенным был ее вклад и в исследование таких тесно связанных с темой полиса и тоже чрезвычайно важных проблем, как рабство в архаической и классической Греции и отношения греков с "варварской" периферией. О внимании и вкусе к теоретическим проблемам свидетельствует и неоднократное обращение Колобовой к такому особенному сюжету, как экономические воззрения древних, и в частности предпринятый ею сравнительный анализ взглядов Аристотеля и Маркса на природу обмена и роль денег, на то, что в современной политэкономии формулируется как проблема стоимости. Первый раз это было сделано ею еще в начале 30-х гг.,107 второй - четверть века спустя.108

К работе над вторым этюдом, опиравшемся на более широкую источниковую базу, Колобова привлекла автора этих строк, тогда еще состоявшего аспирантом. На мою долю пришлось изучение позднеантичных и византийских комментаторов и продолжателей Аристотеля. Работа была непростая, но очень интересная, а главное, я тогда впервые приобщился к историческому исследованию высокого уровня, где текстологический анализ сочетался с теоретическим обобщением, а по видимости антикварное занятие было исполнено глубокого актуального смысла. За этот опыт я навеки признателен моему университетскому наставнику.

Обширные знания и глубокий интерес к общим проблемам античной **[516]** истории в сочетании с естественным для университетского профессора стремлением донести результаты своих изысканий до студенческой аудитории реализовывались у К.М.Колобовой в создании ряда учебных пособий. В середине 50-х гг. Отделом заочного обучения ЛГУ была издана серия составленных ею весьма содержательных, имеющих не только учебное, но и научное значение "Лекций по истории древней Греции" (I-VI, 1955-1958 гг.).109 В переработанном виде они вошли в более обширное, подготовленное Колобовой вместе с Л.М.Глускиной пособие "Очерки истории древней Греции" (Л., 1958).

Между тем как в "Лекциях" нашли отражение лишь ранние эпохи греческой истории (по VI в. до н.э. включительно), в "Очерках" изложение доведено до смерти Александра Великого и даже добавлена краткая характеристика эллинистических государств и эллинистической культуры. Тем не менее можно пожалеть, что "Лекции" оборвались на шестом выпуске: в них историческое повествование отличалось большей полнотой, а анализ - большей глубиной, чем в "Очерках", где изложение было адаптировано для нужд преподавателя средней школы. На самого широкого читателя были ориентированы два других популярных очерка, написанных Колобовой в соавторстве с Е.Л.Озерецкой: "Олимпийские игры" (М., 1958) и "Как жили древние греки" (Л., 1959).

Вообще в творчестве К.М.Колобовой естественно переплетались собственно научные и литературные занятия: чувствовалась школа Вяч. Иванова и приобщенность к высоким культурным традициям российской интеллигенции. Литературные зарисовки интегрально входят у нее в серьезное научное изложение (например, в "Древнем городе Афинах"). Изящно отделаны "Очерки истории древней Греции", а книжечка "Как жили древние греки" по своей художественной обработанности может быть признана образцовой в ряду сочинений о повседневной жизни в античности.

**[517]** С успехом пробовала свои силы Колобова и в жанре художественного перевода,110 и в литературной публицистике.111 А сколько было составлено ею стихотворных обращений или реплик по разным поводам! Некоторые из них по блеску мысли и отделанности формы вполне заслуживали публикации. И как в искусстве научного анализа, так и в стихотворчестве она всегда была готова поделиться своим умением с другими. Когда при переводе какого-то греческого оратора я встал в тупик, наткнувшись на ранее никем не переведенный стихотворный пассаж, она в два счета научила меня приемам ритмической организации строки.

Вообще К.М.Колобова обладала замечательным педагогическим даром. Как и А.И.Доватур, она не относилась к разряду блестящих профессоров, мастеров публичного красноречия. Худенькая, невысокого роста, с несильным скрипучим голосом, она производила невзрачное впечатление, стоя перед большой аудиторией. Внешние данные не говорили в ее пользу, к тому же читала она сбивчиво, не всегда придерживаясь строгого плана. Короче говоря, она по всем пунктам проигрывала таким корифеям лекционного мастерства, как С.И.Ковалев или С.Б.Окунь. Однако на семинарских занятиях, особенно с небольшими группами студентов-античников, она выглядела совсем иначе. Она и сама-то больше всего любила эти камерные занятия. С увлечением готовилась она к практическим занятиям по истории древней Греции на I курсе, подклеивая к русскому переводу "Афинской политии" Аристотеля все новые и новые листки с историческими комментариями. Собственноручно изготавливала, размножая под копирку, переводы греческих слов к параграфам хрестоматии Хр. Хервига, главного пособия по греческому языку для начинающих. Так же собственноручно переписывала греческие надписи к занятиям по эпиграфике на IV курсе.

Мне особенно запомнились семинары по эпиграфике, проходившие **[518]** в нашем тогдашнем кафедральном помещении (аудитория 77). Уютно устроившись в старом (еще дореволюционных времен) кресле, стоявшем чуть в стороне от двух столов, за которыми обычно размещались студенты, Колобова внимательно следила за переводами участников семинара, поправляла, комментировала, а временами, откинув голову на валик кресла, пускалась в интереснейшие рассуждения о каких-либо реалиях или событиях, нашедших отражение в документе.

Вообще Колобову отличало большое внимание к делам преподавания, к пропаганде антиковедения. Она не просто мастерски вела семинарские занятия; как никто другой, она умела привить своим слушателям интерес и любовь к античности, а своим ближайшим ученикам - сознание необходимости неустанной работы как над источниками, для приобретения фактических знаний, так и над теоретическими произведениями, в первую очередь любимых ею классиков марксизма, для лучшего осмысления исторических фактов. Собственной научной практикой она доказывала возможность такого единения фактического знания и теоретического осмысления античности; этим она подавала пример, которому старались следовать ее ученики.

А таких последователей у нее было много. За время работы в университете она подготовила большую группу учеников: Г.Х.Саркисян, И.А.Шишова, И.С.Свенцицкая, И.Б.Брашинский, И.Ш.Шифман, Э.Д.Фролов, Ю.В.Андреев, В.М.Строгецкий, - вот далеко не полный перечень тех, кто вышел из школы Колобовой и продолжил начатые ею работы. В чем же секрет этого редкого счастья, которое выпало на ее долю, - быть окруженной целою группою преданных последователей?

Секрет в том, что она обладала замечательной способностью притягивать к себе учеников. С жаром, с интересными подробностями и экспромтом найденными общими заключениями излагала она перед своими слушателями существо какой-либо в тот момент интересовавшей ее проблемы, и вот уже кто-нибудь загорался тем же жаром и таким образом втягивался в орбиту занятий профессора, но в то же время находил и для себя заветную, интересную тему. Так, И.А.Шишова увлеклась изучением афинской торговли, И.С.Свенцицкая - исследованием земельных отношений в греческих городах Малой Азии, И.Б.Брашинский - историей отношений Афин с городами Причерноморья, Ю.В.Андреев - генезисом **[519]** полисной организации. На попавшихся таким образом в ее сети учеников Колобова никогда не жалела времени.

Сошлюсь и здесь на свой пример: почувствовав во мне пробудившийся под влиянием ее практических занятий интерес к греческой истории, она предложила мне, только что окончившему первый курс, заниматься летом под ее руководством греческим языком. Занятия начались, когда я вернулся с комсомольской стройки. Весь август 1951 г., день за днем, я являлся к ней домой (она жила тогда с мужем и маленьким сыном в коммунальной квартире за Казанским собором, на ул. Плеханова) и с величайшим рвением, но вместе с тем как-то очень легко, просто играючи, прочитывал заданный текст, так что к началу учебного года большая часть Хервига была пройдена.

Для меня, однако, было важно не только изучение древнего языка, но и непрерывное, как теперь бы сказали, неформальное общение с крупным ученым, с человеком большой утонченной культуры, могущественно влиявшим на формирование моих интересов и вкусов. И тогда и в последующие годы и сама моя наставница и вся обстановка ее кабинета оказывали на меня чарующее воздействие: и полки, уставленные изданиями античных авторов и новейшими, интереснейшими пособиями, и массивный письменный стол (в центре комнаты, напротив входа), заваленный книгами и рукописями, над которыми возвышалась прелестная мраморная статуэтка Афродиты, и примостившаяся с края корзиночка с черными подсоленными сухарями, и - по окончании занятий - чашка кофе, приготовленного хозяйкою дома по лучшим бакинским рецептам. За занятиями, за разговорами на самые различные темы, за кофе время бежало быстро, и временами я покидал гостеприимный дом за полночь, что, впрочем, в те годы не было чревато никакими осложнениями: и трамваи ходили чуть ли не всю ночь, и разбоя на улицах не приходилось страшиться.

Так проходили годы, и постепенно менялся характер и уровень наших отношений. Как я упоминал, еще в бытность мою аспирантом К.М.Колобова стала привлекать меня к научному сотрудничеству. Это было для меня продолжением ученичества, но в то же время и приобщением к настоящей исследовательской работе. Особенно ценным в этом плане было последующее совместное занятие греческими ораторами (в частности Исократом): мы читали друг другу наши переводы, обсуждали упоминавшиеся в речах факты, **[520]** оценивали стилистические приемы древних писателей и в спорах находили наиболее адекватное понимание и воспроизведение по-русски встречавшихся трудных мест. Не менее важным было и обсуждение собственно исторических проблем. Нередко моя наставница подробно излагала мне содержание новой своей статьи, а то и просто прочитывала ее вслух целиком, проверяя на мне только что созданную конструкцию. В иной раз предметом обсуждения становилось мое произведение - курсовая, дипломная, диссертационная работа (последняя обсуждалась глава за главой). Разбор велся моею руководительницей обстоятельно, и с содержательной, и с литературной стороны, временами критика становилась острой, с долей иронии или усмешки, но никогда она не превращалась в жесткий разнос.

Конечно, Ксения Михайловна не была ангелом во плоти. В общественной жизни она могла со страстью и даже жестко отстаивать те решения, в правоту которых она верила. Были люди, которые чувствовали себя задетыми или даже обиженными ею в особенности в ту пору, когда она располагала властными полномочиями - была деканом или заведующим кафедрой. Однако, какие бы ни возникали в таких случаях столкновения личного характера, надо признать, что действовала она всегда из принципиальных, а не узкоэгоистических побуждений.

В доказательствах приверженности ее высоким нравственным и политическим идеалам нет недостатка. Незадолго до войны, когда по надуманному обвинению в антисоветской деятельности был арестован С.И.Ковалев, а на общем собрании сотрудников исторического факультета трое ученых деятелей всерьез доказывали наличие в трудах арестованного фашистских идей, одна лишь Колобова имела мужество встать и отвергнуть эти домыслы. Позднее, в 1952 г., когда по инициативе Сталина началась кампания против марризма и в университете была организована дискуссия по книге Колобовой "Из истории раннегреческого общества", она отказалась публично осудить свои "идейные ошибки" - ссылки на работы одного из чтимых ею учителей Н.Я.Марра, за что подверглась суровому порицанию: ей был объявлен выговор по партийной линии и была востребована обратно только что присужденная университетом научная премия. Но и наоборот, когда началось развенчание культа личности Сталина, она не спешила присоединяться к общему движению, и портрет развенчанного вождя долго еще оставался **[521]** висеть на стене ее кабинета…

Таковы были наши учителя. Разные по своему характеру и убеждениям, они были одинаково преданы интересам нашей науки и в послевоенное время, когда началась общая политическая оттепель, приложили максимум усилий для возрождения традиционной основы свободных гуманитарных занятий - антиковедения. Разность их судеб, разность испытаний, которые им пришлось перенесть, не должны подавать повода к противопоставлению их по степени служения науке. В этом плане они для меня равны - С.И.Ковалев и К.М.Колобова в такой же степени, как С.Я.Лурье и А.И.Доватур.

Я никого не собираюсь убеждать в правоте такого подхода. Более того, нетрудно предположить, что найдутся такие, которых и убедить-то в этом будет невозможно. Как бы то ни было, я счастлив, что когда-то мог более или менее близко познакомиться с названными замечательными представителями нашей науки, что в годы молодости мог пользоваться их прямыми советами или суждениями, почерпнутыми из их трудов, и что с некоторыми из них мне довелось затем долгое время дружить и сотрудничать. Да будет память о них чиста!